

Литературный альманах 7' 2003



**До и
После**

Литературный альманах

До
и
После





Руководитель проекта
Иосиф Варди

Редколлегия:
Л. Бердичевский (гл. редактор)
М. Глинкин (проза)
Г. Ляховицкая (поэзия)
А. Ходорковский (публицистика)
Д. Яновский (переводы)

Графика на переплете
Лидии Шульгиной

Оформление и макет
Иосиф Малкиэль

Все права сохраняются за авторами.

При перепечатке указание первоисточника
обязательно.

ISBN 5-89139-01

Берлин 2003

«Хатиква» — значит «Надежда»

В седьмой раз при поддержке Берлинского отделения Центральной благотворительной организации евреев Германии и Еврейской общины Берлина выходит литературный альманах «До и после». Его авторы — члены литературного клуба «Хатиква». 35 мужчин и женщин, приехавших в то или иное время из разных краев бывшего Советского Союза» представляют литературные произведения разных жанров — прозу и поэзию, публицистику и мемуары» переводы с различных европейских языков.

Произведения эти разного уровня; есть вполне профессиональные, со своим видением мира, исполненные в своеобразной творческой манере» а есть — любительские. Но не в этом дело. Все они выражают дух, запросы и интересы русскоязычной еврейской среды, ее мышление и менталитет. Люди привезли в Германию свое прошлое — судьбы, беды, сомнения, свой опыт жизни в государстве, которого нет, в страну, которая есть. И опыт этот, как всякое проявление человеческого бытия, бесценен. Он частица расплывшегося по миру российского культурного пространства, мультикультурной Германии и, конечно же, часть еврейской диаспоры, 13-миллионного еврейского мира.

И очень важно, что альманахи «До и после», само название обозначает: особенность нашей жизни до и после эмиграции, дают людям возможность высказаться, выплеснуть читателю переполняющие их чувства и мысли.

Как известно, «рукописи не горят», но к этому булгаковскому афоризму надо сделать небольшое добавление: они не горят, только пройдя через гуттенбергов станок. Будем надеяться, что эти рукописи найдут свою дорогу к читателям и отзовутся в их душах.

Михаил Румер-Зараев

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Л. Бердичевский
М. Вайман
М. Верник
Л. Гентош-Федоринская
М. Глинкин
Е. Ещенко
М. Зор
М. Их
Я. Кутин
С. Лурье
С. Львович
Г. Ляховицкая
О. Никогосян
А. Осмоловская
Р. Панфилов
А. Подольская
М. Полянская
В. Пугачевская
Л. Рейнгач
Б. Рохлин
Л. Сысолетин
Л. Усач
В. Федорова
Г. Хлусевич
А. Ходорковский
Б. Черепашенец
Ал. и Л. Шаргородские
М. Шейнбаум
У. Шереметьева
М. Эненштейн

Леонид Бердичевский

К СЕНТЯБРЮ

Сентябрь, пожалуйста, не обессудь!
Прошу тебя исполнить просьбу эту:
Ну хоть ненадолго, ну хоть чуть-чуть
Продли дыханье царственного лета.

Шепни мне рифмы и наполни грудь,
Гортань согрей, простуженную часто,
Сумей тепло целебное вдохнуть —
Тебе за всё сторицею воздастся.

Взамен я сочиню тебе романс,
Достоин станешь лучшего сонета.
Я в них пред всеми разложу пасьянс
О том, что ты прямой наследник лета.

Я сохраню в душе твоё тепло.
Сквозь зиму пронесу его и осень.
Забуду всё, что мучило и жгло.
И думаю: весь год мне станет сносен.

ЧИТАЯ Х.-Н. БЯЛИКА

Когда, споткнувшись о рассвет,
уступит ночь ему дорогу
и старики на склоне лет
поспорят с молодёжью в ногу,
от солнца поперхнётся дождь,
мир станет, как пейзаж витражный,
убийца прочь отбросит нож
и в Лету канет день вчерашний.
И Разум мысли озарит.
Военный прекратится грохот.
В еврейский дом войдёт иврит,

приветлив новую эпоху.
Тогда среди множества примет:
спокойствия, добра, расцвета, —
воспримутся, как яркий свет,
все откровения Поэта.

* * *

*Карлу Абрагаму,
уроженцу Берлина,
моему другу.*

В разноголосьи детских голосов
знакомые улавливаю ноты.
Звучат в них шумно ликований взлёты
и исчезает призрак катастроф.
Солдат не разряжает карабин,
и больше никогда фашистский почерк
не повторит разбой «хрустальной» ночи,
и миром дышит будничным Берлин.
Детей еврейских вновь задорный смех,
как музыка, — на улицах Берлина.
Но не забыть погибших здесь безвинно
и всех несчастий лет военных тех.

.....
Снимаю шляпу со своих седин
за то, что мне ты, одному из многих,
без проволочек и условий строгих
позволил жить здесь снова, мой Берлин.

В ДВАДЦАТЬ СТРОК

Ветер вздыбил занавеску,
словно парус...
Сколько, недругам в отместку,
мне осталось?
Сколько зим, и лет, и вёсен
в зной и ливень?..
Мир всегда метаморфозен
и наивен.
ЗаклЮчить пари на годы,

на минуты...
Разложить бы мимоходом
атрибуты.
Не забыть – ещё в запасе
есть попытка...
Из движений общей массы
вывод выткать.
Разобрать всё, сортируя,
только строго...
Но надеяться смогу я
лишь на Бога.

МОЙ ПЕРСТЕНЬ

В серебряной оправе сердолик,
как диск ночной оранжево-латунный.
Интальей в нём покоится Фортуна,
тончайшим профилем свой предъявляя лик.

Я к ней, как неизбежности, привык,
в мой имидж прочно вписан этот перстень.
Таит в себе он гамму многих версий –
обиду, шутку, торжество на миг...

Так перстня неприступный эгоизм
на палец указательный нанизан –
он факелом в судьбе моей горит.

Фортуны потакаю я капризам,
не глядя на издёвку и комизм, –
она ко мне сзывает аонид.

ГРЁЗЫ

Плывёт печаль в воздушном гамаке.
И звук её, поскрипывая, тонет.
Стремительно меня уносят кони,
грустя о настоящем седоке.

Поводья туги. Режут мне ладони.
Азарт клокочет в правом рысаке,
и громко сердце бьется на виске —
Я в этой гонке, явно, посторонний.

Мне не видать просвета вдалеке —
как здесь не задохнуться от погони
и на случайном соскочив перроне,
пыл погасить в решительном рывке...

В воздушном гамаке пленительна печаль.
Но грёзы кончились. Мне их немного жаль.

* * *

«...мир останется прежним»

И. Бродский

Мечутся автомобили.
Курсируют пароходы.
Мечты становятся былью.
Спешат безрассудно годы.
В небе парят самолёты.
Яства цветут на блюде.
В долгу перед кем-то кто-то.
Вокруг суетятся люди.
Решают свои вопросы.
Глодают свои неудачи.
Кто-то, уткнувшись носом
в подушку, ночами плачет.
Где-то простуженный нищий
в кровь сдирает колени.
Кто-то неистово ищет,
как взойти на ступени.
Красавицы и уроды
важным заняты делом.
Люди тонкой породы
считают чёрное белым.
Все исполняют роли —
каждый в своём спектакле.
Давят сомненья и боли:

«Всё ли ты сделал, всё ли?
Так ли ты сделал, так ли?»
Когда мы навек исчезнем,
взглянув вокруг виновато, —
«мир останется прежним»,
покладистым и мятежным,
таким, как возник когда-то.
И только лишь к самым близким
нагрянут воспоминанья,
из глаз разлетятся искры,
пульс забьётся в гортани.

* * *

Сгустились сумерки. И вечер
вот-вот войдёт в свои права.
Хоть дню противоречить нечем,
но уступает он едва.
А за стеною приступ кашля,
тяжёлый вздох и шёпот лишь.
Молчат часы на круглой башне
и обволакивает тишь...

Ты трепетно и очень важно,
в клубок собрав волос волну,
степенно, медленно, вальяжно
готовишься идти ко сну.
Как будто Рубенса мадонна
сошла на землю с полотна,
улыбчива и благосклонна,
тепла, желанна, озорна.

Торопит ночь своё участие.
О! Как томителен искус.
И высший миг любовной власти
нам нов, хоть знаем наизусть.

ОТКРОВЕНИЕ

Уплыл за горизонт
закат багово-алый.
Повисло, как кордон,
ночное покрывало.
И воцарилась темь,
и захлебнулись трели.
И свет мерцает всем
из окон еле-еле.
Забрезжит завтра день
«берлинскою лазурью».
Ему не будет лень
мозги запудрить дурью.
Толкнуть на дерзкий шаг
и усмехнуться криво.
И всяческий пустяк
внести в свои архивы.
Стать на полночный старт,
дыханьем разогретый,
и сохранить азарт
до самого рассвета...
Чем вызваны стихи
и это откровенье? –
Виновником, а-апчхи, –
дурное настроенье.

...НА ДВОРЕ БЫЛ ВЕК ДВАДЦАТЫЙ

Как-будто бы ещё вчера
заполненные вечера.
И на дворе был век двадцатый.
В мечтах уносимся вперёд,
и рифмой переполнен рот,
ошеломляли результаты...
Немного пролетело дней.
Недосчитали мы друзей.
Случайны стали диалоги.
И невпопад ползут слова,
в них нет и тени волшебства.

И перепутались дороги...
Когда-то было всё впервой.
Кружился мыслей пёстрый рой.
И на дворе был век двадцатый.
Да что уж вспоминать теперь.
В ту жизнь закупорена дверь.
Повисло небо, как заплата...
С тобою мы шагаем врозь.
Ты вкривь идёшь, иду я вкось.
И нам сопутствует верлибр.
С тоскою время смотрит вслед
на наш искривленный хребет
и незначителен наш выбор.

* * *

Зевс, обернувшийся в Быка,
Европу водрузил на спину.
И тащит на себе, пока
он не осилит путь свой длинный...
Так мы проносим тяжкий груз
своих забот – в труде и споре –
разлук и встреч, семейных уз,
пока не срубит нас под корень.
Едва мы сможем продохнуть
под аккомпанемент инерций.
Но здесь заканчивает путь
вконец истрёпанное сердце.

* * *

Любе Рейнгац

Бежало полотно...
Безудержно бежало.
От кривды и обид, во избежанье жалоб.
И ни почём ему ни рельс змея, ни шпалы,
ни слёзы от разлук,
ни суета вокзала.
Оно несло, как звук,
стихийно, без дрессуры.

Раскатывая в лад рулон мануфактуры.
Вот только жаль, пути ему не доставало,
чтоб уместить вовсю своё большое жало.
И чтоб не повстречать закат багрово-алый,
и подвести черту –
ведь прожито немало...
Ему не занимать ни ритма, ни сноровки.
Стремительно летит без всякой остановки.
И никого оно не натолкнёт на жалость.
Бежит себе, бежит,
как до сих пор бежало...
Но где его конец?
Но где его начало?

ЦЕПЬ СОНЕТОВ

1.

Подули ветры теплые с утра.
На солнце греясь, весело запели
пернатые солисты. И капли
звенят под небом каждого двора.

Нагие верёв в блесках серебра
свои сережки белже надели.
близка уже пора страстной недели,
весны неповторимая пора.

Сосулек лед прозрачен и хрустален,
то там, то здесь видны места проталин,
а за рекой белым-белы луга.

Куда ни глянь, в безмолвии глубоком
недвижно – до положенного срока –
лежат в Заволжье талые снега.

2.

Лежат в Заволжье талые снега,
под небом ослепительно белея.
Лед на реке стал мягче и рыхлее,
но крепко еще держит берега.

А здесь под солнцем зелены луга,
шмели от сладких запахов балдеют,
на Шпрее ветры голубые веют,
колышут в небе синем полога.

Уже давно подстрижены кусты,
дворы и улицы ухожены, чисты,
дома покрыты красной черепицей.

Я видел сон, лишь задремав к утру:
стоят, сутулясь, избы на ветру,
я в дверь стучусь, прошу воды напиться.

3.

Я в дверь стучусь, прошу воды напиться.
Крепки засовы тесаных ворот.
Что жизнь дала мне от своих щедрот?
Ни журавля и даже ни синицы.

Холодный дождь мне за ворот струится,
осенний ветер, шут и сумасброд,
бесчинствуя, на мне одежды рвет
и не спешит хоть чуть утомониться.

Прошла еще минута или две,
в избе негромко заскрипела дверь,
мне, наконец, ворота отворили.

— Бездомный путник, жажду утоли, —
сказав, в ковше мне уксус поднесли,
не ведая, должно быть, что творили.

4.

Не ведая, должно быть, что творили,
издревле — обитатели земли —
мы идолов тупых боготворили,
в огне костров мы праведников жгли,

вождям кровавым фимиам курили,
своих друзей травили, как могли,
и отправляли в море корабли,
и там же в море синем их топили,

и строили до неба терема,
и их взрывали, рушили дома,
все делали наперекор и назло.

Была чума – мы правили пиры
и зажигали жаркие костры,
в костер вражды мы подливали масло.

5.

В костер вражды мы подливали масло,
мосты сжигали за собой дотла.
Горела плоть людская, как смола,
высокие соборы, избы, прясла,

скопленья книг. И не скрывая зла,
все делали, чтоб пламя не погасло,
и предавали – тайно или гласно –
отцов своих устои и дела.

Я думаю, настанут времена,
и, злобу нашу выплеснув до дна,
помиремся мы, наконец, с врагами,

не прибегая к помощи меча.
Но будет еще долго горяча
зола вражды под нашими ногами.

6.

Зола вражды под нашими ногами.
Обильно ею устлана земля,
которую, и день и ночь пыля,
мы кованными топчем сапогами

и поливаем кровью и слезами.
Не потому ль так зелены поля,
где дьявольскую силу конопля
сосет из почвы жадными корнями?

Полынь-трава, кладбищенский бурьян
распространяют горечь и дурман,
кроваво зреют яблоки раздора.

Мне кажется порою, что не вдруг
мы разомкнем порочный этот круг
глухой вражды, насилья и позора.

7.

Глухой вражды, насилья и позора
я чувствую невыносимый гнет.
Как будто я попал в водоворот
слепых страстей, немыслимого вздора.

Я сам с собой не прекращаю спора.
Зануда-совесть предъявляет счет
за каждый вздох мой. Ночи напролет
напоминает мне не без укора

о глупых шутках и ошибках тяжких,
о тех кострах и даже о промашках,
мною сделанных когда-то впопыхах.

Ее укоры для меня не новость,
и потому, чтоб успокоить совесть,
решился я покаяться в грехах.

8.

Решился я покаяться в грехах.
Моей души я обнажил изъяны,
ее незаживающие раны,
и свет надежды был в моих глазах.

В моих незатихающих мольбах
изобличал себя я покаянно.
Но мне в ответ звучал лишь окаянно
зловещий хохот. С ложью на устах

в меня бросали, яростно бранясь,
и камни придорожные, и грязь,
во всех земных пороках обвиняли,

хотя грешнее были во стократ.
С мольбою к тем, кто враг мне или брат,
я каялся — они в меня плевали.

9.

Я каялся — они в меня плевали.
И показалось, почва из-под ног

уходит прочь и рушится порог
добра и зла, и громкий крик шакалий

вослед несется, оглашая дали.
И этот поучительный урок
я много лет никак забыть не мог.
Умножили души моей печали

вчерашние друзья мои. Как больно
свои ошибки сознавать неволью
и заблуждений пожинать плоды,

не отличив достойных лет от плутней.
Один лишь вздох от праздников до будней,
один лишь шаг от дружбы до вражды.

10.

Один лишь шаг от дружбы до вражды,
от славы до бесславья и позора,
от истины немеркнувшей до вздора,
от роскоши безмерной до нужды,

Один лишь взрыд от звонкого стиха
до горькой прозы суеты и быта,
от замка до разбитого корыта,
от святости до смертного греха,

от бурного зачатья до рожденья,
от юношеских грез до седины.
Один лишь залп от мира до войны,

один лишь вскрик от взлета до паденья.
От радостного смеха и тоски
один лишь миг – до гробовой доски.

11.

Один лишь миг до гробовой доски,
но в этот миг мы привыкаем все же,
сердца свои калеча и тревожа,
друг с другом жить, как в банке пауки,

и кровью обогреть материки,
марать уста злословием и ложью
и осквернять супружеские ложа,
и применять крутые кулаки

как довод в споре. Радость иль беду,
свободы дар иль новую узду
мне принесет грядущий миг единый?

Куда меня забросит этот миг?
В мир добрых дел иль тягостных интриг?
Пути Господни неисповедимы.

12.

Пути Господни неисповедимы.
Я бегал в детстве по сухой стерне,
по травам на зеленой целине.
Потом меня судьба как пилигрима,

безжалостно бросала по стране
от выжженных степей необозримых
до мест суровых, где бушуют зимы,
нигде приюта не давала мне.

И вот – Берлин. И кто б подумать мог,
что здесь лежит последний мой порог,
и, слушаясь лишь совести советов,

смогу найти я на своем пути
свободы призрак и еще сплести,
стыкуя строфы, цепь моих сонетов.

13.

Стыкуя строфы – цепь моих сонетов, –
я их построил друг за другом в ряд,
так в поднебесье журавли летят,
полощут крылья в просини рассветов.

Четырнадцать разрозненных сюжетов,
звучащих, вероятно, и не в лад,

но в них души томленье и разлад,
боль от пустых раздоров и наветов.

В них горечь заблуждений и сомнений,
попынь обид, четырнадцать мгновений
тернистого, нелегкого пути,

достойного, быть может, порицанья.
Все минуло, осталось лишь желанье
с самим собой согласие найти.

14.

С самим собой согласие найти,
угомонить тщеславье и тревогу
и, наступив кому-нибудь на ногу,
«Простите!» – в тот же миг произнести

и пожелать любви и прочих благ,
и никому не преграждать дорогу,
сказать с улыбкой встречному бульдогу
не знающему русский: «Guten Tag!»

Летающим журавлям под облаками
рукою помахать. Следить часами,
как во дворе играет детвора,

не торопить события к эпилогу,
открыв окно, промолвить: «Слава Богу,
подули ветры теплые с утра».

ГРУДЬ МАРИИ-АНТУАНЕТТЫ

В тринадцать лет я был долговяз, худ и всегда голоден. Все мои желания, все мои планы и помыслы в то время сводились к вопросу об еде, а буйное воображение непрестанно рисовало заманчивые и, я бы сказал, фантастические сюжеты на эту тему. Восприятие прекрасного, чувство юмора и поэзии, красота окружающей природы – все находилось у меня в прямой зависимости от количества поглощенной пищи.

Жили мы в бараке. Заключенные, находившиеся здесь до нас, в срочном порядке были отправлены на фронт «искупать свою вину кровью». Рядом с входной дверью барака была отгорожена небольшая каморка. В ней проживала Таня, женщина 22-х лет, красивая и доброжелательная. Глаза ее смотрели на меня как-то особенно приветливо. Они казались мне окнами души, отражающими синее небо. Я глядел на Таню с чувством затаенной влюбленности.

Муж ее был на фронте. В письмах она клялась ему в вечной любви, в том, что примет его, каким бы он ни вернулся – даже без рук и ног – и будет верна ему до конца своей жизни. Соседи, каким-то образом узнавали содержание этих писем и восторгались ими. Таня работала в столовой, от нее пахло кашей и щами. Она меня иногда подкармливала этими деликатесами.

Однажды, приоткрыв дверь своей коморки, она позвала меня к себе. Войдя, я был ошеломлен: грудь ее была обнажена и облеплена толстым слоем каши.

– Что смотришь, – сказала она. – Принимайся за еду. Я вижу, что ты голоден. Я принялся за дело – сначала с помощью пальцев, затем припал жадным ртом к ее груди. Каша была необыкновенно вкусна. Никогда прежде ничего подобного я не ел. Каша нежно скользила по языку и небу.

– Каша стала густой и холодной, – объяснила Таня, – я решила, что на моей груди она разогреется и потечет. Мне стало плохо, когда я почувствовала липкие ручейки на животе и мокрые пятна на кофточке. Казалось, что все на меня смотрят. Не помню, как я добралась до дома и здесь увидела тебя...

Она продолжала говорить, но смысл ее слов не доходил до меня. Я с наслаждением глотал вкусное месиво, облизывая ее груди, шершавые соски до тех пор, пока не была съедена вся каша. Голос Тани стал хриплым, порывистым. Расстегнув мою рубашку, она судорожно прижалась ко мне. Наступил момент сумасшедшего блаженства, после окончания которого она воскликнула:

– Боже мой! Грех-то, какой. Ты ведь совсем еще ребенок.

– Разве я не убедил тебя, что я мужчина? – в моем голосе звучали нотки самодовольства.

– Не говори глупостей – прервала она меня, проведя пальцем от ключицы вниз по ребрам, – настоящая стиральная доска. Одевайся, ведь кто-то может войти. Не вздумай никому рассказывать. Обещаешь?

– Честное пионерское, – заверил я, внезапно обретя чувство юмора.

– Скажи, как на твоей груди оказалась каша? – поинтересовался я.

– Ты что, не соображаешь? Я ношу ее через проходную в лифчике. Даже вахтер, если и ощупает меня, все равно ничего не обнаружит, – успокоила она меня.

– Разве это возможно, чтоб ощупывали?

– Конечно. Особенно если мужики. Те под видом проверки куда угодно полезут.

– Теперь понятно, почему каша такая вкусная. Она наполняется ароматом твоего тела.

– Я уже от кого-то это слыхала.

– От кого, – не унимался я.

– Мало ли от кого.

– Зачем ты дразнишь меня – спросил я расстроившись.

– Да пошутила я. Неужели не понимаешь? Поешь еще каши. Вон – в лифчике. Уже пользуясь ложкой, я извлек содержимое из обеих шикарных пиал и вдоль насытившись, ушел. В последующие дни я так и не встретил ее. Она появлялась в бараке редко. А потом и вовсе исчезла. Вскоре появились слухи, что она была задержана на проходной и по законам военного времени выслана куда-то.

Все, что было связано с Таней, запало в мою душу до мельчайших подробностей. Мне казалось, что будь я скульптором, я бы по памяти смог изваять ее бюст. Долго еще я, где бы ни находился, непроизвольно искал глазами ее среди встреченных женщин, читая всевозможные романы, я мысленно наделял их героинь таниными чертами. Так, читая о Марии-Антуанетте, о том, как пили вино из кубков, имеющих форму ее груди, я мысленно представлял облик Тани в королевских одеждах, в блеске драгоценных камней.

Шесть годы. Я окончил медицинское училище, работал фельдшером. В те годы фельдшеры вели прием больных наряду с врачами. Однажды у дверей моего кабинета я увидел Таню. Сердце мое учащенно забилось. Узнать ее было нетрудно. Она была также красива. Я увидел, что наша встреча вызвала в ней смущение, причина которого была мне неясна. Она ждала в вестибюле, пока я принимал очередного пациента, затем, приоткрыв дверь, сказала, что ждать дольше сегодня не может и придет в следующий раз. Я понял, что она просто убегает от меня. Мы условились о следующей встрече. Я все время думал о ней, томась ожиданием. На следующий день ко мне пришел знакомый стекло-

дув. Он принес медицинскую эмблему – чашу с обвивающей ее змеей.

В голову пришла мысль, буквально поразившая меня: чаша на медицинской эмблеме напоминала кубок, из которого поклонники Марии-Антуанетты пили вино за ее любовь и красоту.

– Вася, – спросил я стеклодува, – смог бы ты выдуть кубок, имеющий форму женской груди?

– Конечно, – ответил он.

– Мне нужен кубок, имеющий форму груди моей знакомой, – уточнил я.

– Для этого я должен подержать изображаемый предмет своими руками, измерить его габариты или хотя бы осмотреть его глазами. Со слов ничего не получится – ответил он.

– Нет, это невозможно – с грустью сказал я.

– Что же ты предлагаешь? Тогда сам сними слепок, – пошутил он. – Зачем тебе это нужно. Я предпочитаю пить водку из стаканов.

– Ладно. Если я надумаю какое-либо решение, позвоню тебе. Ведь прихоть бывает иногда важнее, чем что-то крайне необходимое.

Таня пришла в назначенное время. Она была несколько грустна. Я же не скрывал своей радости.

– Как живешь? – спросила она. – Стал врачом?

– Да, – ответил я. – А чем ты занимаешься?

– Пока дома сижу, – последовал ее ответ.

– Таня? Что произошло тогда? Куда ты исчезла? Я тебя так ждал. Говорили, что тебя посадили.

– Просто я замуж вышла. Вернее, сошлась с мужиком и не хотела, чтоб об этом все знали. Ты ведь помнишь, как относились тогда к женщинам, у которых мужья на фронте, а они с другими. Я писала мужу, но ответа не было. Потом получила похоронку. Но все продолжала писать. Ты не представляешь как страшно расстаться с мужем, с которым и медовый месяц до конца не прожит, а потом ему, мертвому, писать сумасшедшие письма. Что я только не делала от отчаяния.

Наступило молчание, я проглотил ком, подступивший к горлу.

– Как ты жила дальше? – спросил я.

– Всякое было. У меня растут две дочери – ответила она.

– Ты пришла ко мне лечиться или просто повидаться? – поинтересовался я.

– Лечиться я у тебя не буду, мне неудобно.

– Что неудобного? Я так привык, что при мне раздеваются, что даже не обращаю на это внимания.

– На меня ты не сможешь не обратить внимания, – потупясь, сказала Таня.

Неожиданно для самого себя я спросил:

– Может быть, мы встретимся как-нибудь? – голос мой дрогнул, как будто я предложил что-то неприличное.

Она с испугом ответила:

– Нет, нет, и не думай об этом. Я замужем, и вообще это невозможно.

– А я тебя все эти годы ждал. Ты помнишь...

– Не надо ни о чем вспоминать. – прервала она меня улыбаясь, наверное, вспоминая ту мою вывоженную в каше физиономию.

– Я надеялся встретить тебя. Все вспоминал прошлое. И еще мечтал иметь кубок в форме твоей груди.

При этих словах она вздрогнула, как от удара.

– Господи, о чем ты говоришь, бред какой-то.

– Почему бред? – и я рассказал ей о Марии-Антуанетте, о ее возлюбленных. Волнение ее возрастало.

– Ты что, совсем сошел с ума? Что ты мелешь? Какая еще Антуанетта? Сейчас же прекрати. Впрочем, ты тогда еще был жутким фантазером.

– Таня, это не фантазия. Это легко осуществимо.

И, знаясь от волнения, я передал ей свой разговор со стеклодувом.

Поняв, что продолжать разговор бесполезно, она сказала:

– Ну, хорошо. Взгляни же! – и расстегнула кофточку.

То, что я увидел, потрясло меня. Грудь ее была гладкая, как доска. Кожа испещрена рубцами и шрамами.

– Меня менее года назад прооперировали. Врачи сказали, что я слишком поздно к ним обратилась.

– Прости, Танечка, что я по глупости своей причинил тебе столько боли. За что ты так наказана?..

Она ответила:

– Я знаю, за что. Бог наказал меня, наверное, за тот мой грех. Ты знаешь, о чем я говорю. Ведь ты был тогда еще совсем ребенком.

Михаил Верник

КТО СКАЗАЛ, ЧТО ЕВРЕЕМ БЫТЬ ХОРОШО?

Кто сказал, что евреем быть хорошо?

Не знаете?

Да сами евреи и сказали!

Ведь никто другой этого бы не сказал.

Вы себе представьте, чтобы какой то гой сказал бы это.

Да его бы съели. Но, к счастью им такое в голову не придет.

А евреям пришлось и держится уже пару тысяч лет. Из них пытались это выбить, выжечь и еще разные гадости придумывали. Но евреи только смеялись, часто сквозь слезы, но смеялись, и этого никто не понимал.

Мне кажется, что они это делали всем назло.

Вот просто так – назло, из принципа.

Часто, сами не зная, чем они лучше, они кричали «Мы лучше», а их били, а они – «Мы лучше».

А спроси их – чем?

В лучшем случае они, что-то промывают, руками помахают.

И если вы не поймете, то это доказательство, что они лучше, ведь умных трудно понять.

А если серьезно?

Так они из серьезного сделают шутку!

А если без шутки?

О, это уже сложно, но можно попробовать.

Представьте себе, чтобы делал мир, если бы не было этих евреев.

Можете представить? Можно!

Их бы просто придумали – этих евреев, без них уже нельзя.

И Б-г, поэтому придумал их сразу, то есть – первыми.

И взвалил на них всю ответственность за все: что было, есть и будет.

То есть снял с других всю работу.

А евреям – рабство, инквизицию, Гитлера, в общем, весь компот.

И они – эти евреи всем довольны, и стали другие им завидовать. Тогда евреи, чтобы совсем испортить всем настроение, сказали, что они самые умные.

– Как умные? Как самые?

– А мы, а что мы?

– А вы тоже умные, но только мало – сказали евреи.

Вы знаете, что еще ни один дурак не сказал, что он дурак. Чем глупее человек, тем он считает себя умнее других.

А как быть с целым народом. Неужели бывает глупый народ? Неужели несколько миллионов глупых людей, могут диктовать условия «Dem Rest der Welt».

Что-то здесь не то!

Большинство руководит меньшинством – учили коммунисты.

А капиталисты говорят, что лучше меньше – но хорошего.

А гоям, все до задницы, они говорят – больше, меньше – нам наплевать, во всем виноваты эти хитрые жида (евреи), и мы им не простим.

А, что собственно нам прощать, что же натворили эти еврей, что им не прощают.

То, что они родились и всем назло размножаются?

То, что пережили всех своих врагов?

То, что подарили миру сотни, а может тысячи гениальных людей?

То, что живут не так как все?

То, что дружат с гоями?

То, что не хотят быть похожими на своих врагов?

Никто не ответит, никто не хочет отвечать, что и за что же их прощать?

Мы всем все простили, у нас совершенно нет врагов.

Вот и говорите, что еврей не умные.

Мы со всеми дружим, это с нами – никто не дружит.

Так кто сказал, что евреем быть хорошо? А?

Между прочим!

Я вспомнил один анекдот: Один еврей спрашивает другого: – Хаим, почему нас никто не любит? А?

– А кого мы любим? А?

Действительно кого мы любим? Да мы любим всех и все, от больших до маленьких, мы любим все, что передвигается и имеет две ноги.

Но мы любим их по-своему, мы любим их тихо, страдательно, потому что мы страдаем. когда им плохо, мы хотим чтобы у них тоже было не хуже, чтобы не завидовали нам и не строили пакости нам, и мы готовы за это поделиться всем хорошим и плохим что у нас есть, лишь бы всем было хорошо.

Мы их любим близко и на расстоянии. Ведь, в конце концов, благодаря многим из нас мы выжили. Инвалидами – но выжили, как же их не любить. У каждого из них был кусок еврей, ну это как собачка.

Но мы были довольны всем, и это ставило их в тупик, а нас на свое место.

Ну, кто сказал, что евреем быть хорошо?

Или уже не так хорошо?

А как может быть хорошо, когда одна часть наших, что бы им было совсем хорошо делал на себя крестики и повесила в синагогах портрет Иешуа бен Иосифа, это один еврей который хотел чтобы всем было хорошо – и доигрался! Ни кому не стало лучше, а наоборот.

Так нас за это тоже бьют!
Плохо – бьют, хорошо – тоже бьют!
Так что хорошо быть евреем или плохо?
Говорят, что женщина не бывает полубеременная. Она или беременна или нет.
Так давайте решать остаемся ли мы евреями или нет.
А тот, кто сказал, что евреем быть хорошо, был умный еврей! Поверьте мне!
Это кто сказал, что мы дураки?
Это кто там лает?
Это кому в морду захотелось?
Молчите длинноносые, а туда же «Мы умные, благоразумные!»
«И шоб у вас и в нас все було гаразд».
Тыфу на вас, хриstopродавцы.
Поделиться хотите, так зачем нам половина, когда мы у вас все заберем – для порядку.

Хто сказал, шо вы умные, а мы мало?
Хто? Ну хто это?
Дайте его, и он этот вумник получит государственную премию только посмертно.
Мы ведь тоже мирные люди. Мы когда за вилы хватаемся? А, когда? Когда пьяные, вот когда.

А пьем мы часто, поэтому вам умникам и достается.
Но это не потому что вы умные, а потому что не любим мы вас.
Слишком от вас воняет, этими духами, шо мы не любим.
И еще за многое другое, и за то шо вы еще огрызаетесь.
Когда бьют нужно молчать, а вы? А вы на иностранном языке кричите што не понятное, вроде «Геволт».

А мы думаем шо кого-то на подмогу зовете, ну и в морду.
А потом вы еще и обижаетесь.
Так кто мне скажет, кто сказал шо мы того?
Да наши ваших в хоккей обыграют: 100:0. Да наши ваших в любую обыграют.
– Зато мы сильны в шахматы.
– Хто? Хто это сказал? Где он? А Сука, попался! Какие шахматы, да это сионисты придумали эту игру, чтоб над нами издеваться. Ах ты, гад! Ах ты жидок еще не порезанный. А ну встань, если жить хочешь!
– А вы бить будете?
– Хто, хто это опять? Где он? Ну, покажись еврейчик, как брата прошу. Бить не буду – сильно, только так легко! Слово даю.
– А я вам не верю!
– Хто, где он? Он мене не верит, ну Хаим или Мойша, или хрен тебя знает, ну погоди!
– Хорошо я выйду, но учтите у меня черный пояс по карате.
– Ой, ой напужал! Так вот ты какой, так я себе и представлял. Большой, сильный, красивый и нос как нос. А я думал, что все евреи плюгавые.

- А так вы еще и думаете!
 - Во, во сейчас доиграишься, вумный, сейчас как врежу.
 - Но зачем сразу врежу? Давайте дружить. Ведь нет ничего лучше – хорошего друга.
 - Да чтоб я, чистокровный, с каким-то обрезанным, да я, да я!!!
 - А я вас научу в шахматы играть и вашу жену тоже. А вы меня научите, как в морду бить и жену мою тоже. Да?
 - Достал ты меня. К стати как зовут тебя.
 - Меня зовут Толик. А что вы удивляетесь? По вашему – Толик, по нашему – Тевье. А вас как зовут?
 - Меня? Меня зовут Лева! Ты чего смеешься? Опять провоцируешь! Лева это по вашему, а по нашему Лев. Царь зверей.
 - Так вы зверь?
 - Ах, ты еврейчик поганый, это кто зверь? Это я зверь? Да у меня бабушка Сара Абрамовна, сам ты букашка-какашка.
 - Ваша бабушка? Это наша бабушка! Так ты Левочка наш. Так ты мой брат – по несчастью? Так почему ты такой грубый?
 - Тихо, Толян, не кричи! Это для конспирации, чтоб никто не догадался. Так что делать будем, пойдем вмажем, посидим, а потом я тебя с мамой познакомлю.
 - Можно, только сначала я тебя с моей мамой познакомлю.
 - Да Тевье, наши момелэ самые лучшие в мире.
 - Левелэ, а наши бобелэ, а? Наши вообще лучшие в мире.
 - Тихо не кричи, а то кто-то услышит: – Самые лучшие, самые умные, самые красивые – еще в морду могут дать.
- И обнявшись, они пошли искать свое счастье!

ПРОКУРОР

Его боялась вся семья. Его уважали за то, что боялись. Его любили за то, что он всегда мирил всех. Его звали Дудэк, а за его спиной называли – «Прокурор».

В большой семье всегда не могли все дружно жить, всегда возникали какие-то проблемы. Кто-то что-то сказал, кто-то не так посмотрел, а кто-то вообще не хотел смотреть и говорить. И это сказало, мазало, было поводом, чтобы сестры и братья, дяди и тети, махытын и махатунем были боройгэс друг на друга и не общались. Тогда появлялся «Прокурор».

Узнав, что кто-то с кем-то не разговаривает, он без предупреждения приходил к ним и начинал суд-перемирие. Он садился на стул и ложил руки на живот, который служил ему во время суда – столом. Живот был большой и круглый, а наверху была, как бы пупочка. Иногда «Прокурор» ставил на живот стакан с чаем и, помешивая его ложечкой, вел расследование. Его расследование были короткие, но жестокие. Он говорил один,

иногда только спрашивая, кто, что сказал из обиженных первым, чтобы тут же сказать второму, что тот должен был сдержаться и не отвечать первому. Один всегда должен быть умнее, а так как умнее не хотел быть никто, то он кричал всем, что они шмоки и глупые члены мышпухи. Шмоками хотели быть все, но не глупыми. Ведь шмок, это так, не очень хорошо, но и не очень плохо. А глупый, это почти, как дурак или идиот. А таким не хотел быть никто. Поэтому и мирились сразу, если только «Прокурор» начинал кричать: «Вы же просто а глупые шмоки, а еще родственники. Можно было подумать, что такого не могло быть».

«Прокурор» объяснял, что они должны перемирились, чтобы враги не радовались этому горю. Складывалось такое впечатление, что в местечке жили те, кто не разговаривает друг с другом и враги, которые этому радовались. И чтобы не радовались эти враги, им назло мерились братья и сестры и все остальные.

Но были и такие, которые упрямо не хотели мириться и давали повод врагам смеяться над нашим горем. Такой случай и произошел у нас в мышпухе.

Перл не разговаривала с Ховой, а были они сестрами и еще матерями и женами больших семей. Все попытки, как-то перемирить их кончались провалом. Каждая в отдельности предъявляла такие аргументы, что о перемирии не могло быть и речи в ближайшие сто лет. И ни какие свадьбы или похороны не могли повлиять на этих сестер. Почему они не разговаривали? Этого никто не знал и так как причина было около двадцати и все могли привести к войне.

Ни Хова ни Перл уже не помнили, почему они баройгэс, но это уже было не важно. Важно было, что никто не мог справлять не именины, не свадьбы, не годовщины, так чтобы не подлить масло в огонь. Никто из враждующих мышпух не ходили друг к другу в гости. Встречались тайно и гуляли тайно, но всем это надоело и умнейшие обратились к «Прокурору».

Сказав, что он скоро придет, он послал Вэлвэлэ за Перл, а Лону за Ховой. Перл услышала, что ее вызывает «Прокурор» кинула все, что было под руками и, вытирая мокрые руки, пошла за Вэлвэлом. Нет, я ошибся. Не она за Вэлвэлом, а он за ней и если бы не его молодость, не угнал бы он за старушкой. Она переваливалась с боку на бок и, разбрасываясь слюной, что-то кричала. Она не хотела гневить «Прокурора», так как боялась опоздать.

Хова куда не торопилась, она жила рядом и степенно пришла и заняла место. Сев напротив, две сестрички уставились на «Прокурора». Он начал говорить, что это абзэоим, что так дальше нельзя, что куры и те смеются. Его доводы были веские и его слушали молча. Окончив, он предложил сестрам перемирие, но они сидели и не проявляли ни какой реакции. Он посмотрел на них с удивлением и начал снова. Реакция была такой же.

- Вус зыцт ир унд швайгт? Зугт элэс!
- Их зугт гурнышт! - сказала Хова и гордо посмотрела на Перл.
- Ду зугт гурнышт? Найн из зуге гурнышт! - ответила Перл и отвернулась.
- Вус ист гурнышт? - спросил «Прокурор» - Гурнышт ист гурнышт. Их бляйбэ

сигэн бис ир байде шулэм шлисен! Дус ист майн ворт! А то зой!

«Прокурор» со злостью топнул ногой. Это было первый раз, что его не послушались. Каждый сидел и думал о своем. Хова думала, что, в общем, она не против перемирия. Ей самой все это надоело, и она часто скучала за Перл, но первой она и шага не сделает. Перл уже была готова первой что-то сказать, но злое лицо «Прокурора» напугало ее. Она, Перл была старшей и в детстве нянчила Хову, а, теперь смотря на Хову, у нее свалилось сердце от тоски. Она любила Хову и знала, что и Хова за нее всем глотку перегрызет, но так получилось, и теперь они были баройгэс. Видя, что ситуация не из таких «Прокурор» начал говорить:

– Так слушайте меня. Если я умру и вы не помиритесь, то похороните меня вместе. Но я прошу, положите меня в гроб лицом вниз. Вот так я вас прошу, лицом вниз.

Хова и Перл вскочили и стали вместе говорить, что он их брат (а он был им еще братом) сошел с ума и стал а мишигэнер, что он вообще говорит, как это умер, чего это он должен умереть, они ему не разрешают умереть и если на то пошло, то лучше они умрут, но ни в коем случае он. Так они торговались, кто должен раньше умереть, ну, это еврейские похороны. «Прокурор с гордостью смотрел на них и у него радовалось сердце. Перл и Хова обнявшись, стояли перед ним и не давали ему умереть, они забыли, что были уже много лет баройгэс, но чем больше они кричали, тем сильнее возникало у них желание, спросить у брата «Прокурора», почему он хочет лежать в гробу лицом вниз, что это за мансыс, лицом – вниз? И не выдержав, спросили:

– Дудык, фарвус вильст ду лигэн ин а гроб, мит пунэм рунтер? Фарвус а та зой? Фарвус?

– Так я вам скажу! Если я умру, и вы не помиритесь, и я буду лежать лицом вниз, то вы обе подойдете ко мне и поцелуете меня в тухес. Вот это и есть фарвус!

Взволнованные Хова и Перл не хотели, чтобы их брат умер и не хотели целовать его в тухес. Они посмотрели друг на друга и, разняв руки, кинулись обниматься. Они целовались и целовали «Прокурора», они были счастливы, что у них такой умный брат, а он был счастлив, что у него такая сложная работа – мирить людей. Особенно если эти люди были из его мышпухи.

Вот и этому рассказу конец. В нашей большой мышпухе жили дружно, но и дружно ссорились. Все, кто не разговаривал с кем-то, потом мирился и это было поводом хорошего и яркого застолья, главное во время помириться и для этого у вас есть я.

СТАРЫЙ АРМЯНИН

В большом парке его нельзя было не заметить. Люди проходили мимо и смотрели в его сторону с любопытством и сожалением. Они видели пожилого мужчину, сидевшего на скамейке и обхватившего свою голову большими руками. Они не могли понять, почему он раскачивается, и что за странные звуки издает его голос. Они проходили мимо и каждый из них думал по-своему. Одни думали, что это бедный иностранец,

поющий что-то на своем языке, другие думали, что сумасшедший, а остальные просто ухмылялись, так как это могут делать только немцы. Почему немцы? Да потому, что всё это происходило в Германии, в Берлине. А немцы, как вы знаете, не очень любят нашего брата, особенно, если он темнее и беднее их.

Я услышал его голос и у меня сжалось сердце, я почувствовал, что это что-то свое, родное, хотя и не понимал ни одного звука. Но мелодия – эта мелодия, могла исходить из сердца доброго человека и я это чувствовал. Я подошел к нему и спросил по-немецки, нужна ли ему моя помощь. Он улыбнулся и показал руками, что не понимает. Мина на его лице была извиняющаяся, хотя он ничего плохого не сделал. И я вспомнил себя, также улыбающегося немцам, как бы извиняясь, что не понимаю их.

Я спросил по-русски: Вы из России?

Он улыбнулся и ответил: – Это как посмотреть. Я из бывшего СССР, но вообще-то я армянин.

– Армянин? – переспросил я.

– Да. А что? – как еврей переспросил он. – Может вам армяне не нравятся?

– Мне все равно – ответил я – лишь бы человек был хороший, ведь в каждом народе есть говно, и есть удобрение.

– Разве есть разница между этим? – ехидно спросил он – вроде бы кака, она всегда кака.

Он улыбнулся, на его лице появилась теплота. Он закрыл глаза и продолжил.

– Вы, наверное, думаете, что я гежвбц, что я сошел с ума или что-то в этом роде. Нет, не сошел.

Он опять начал издавать мелодию какой-то песни. Я не ожидал, что он запоет ту песню, которую я немного знал. Он пел песню о Ереване, о красивом городе, о красивых людях и о том, что он не может без него жить. Когда он закончил петь, его глаза были полны слез. Я не смог сдержаться и перефразировал одну из строчек Торы: «Если я забуду тебя Еребуни – пусть мне отрубят правую руку!»

Он открыл свои заплаканные глаза, посмотрел на меня и сказал: – Тра джан, сынок, ты знаешь, о чем я пою?

Это было все, что он мог сказать, слезы и волнение захлестнули его, он смотрел мне в глаза и я чувствовал, что он ждал меня.

– Тра джан, сынок, несты, сядь возле меня!

Он не просил, он, умоляя, приказывал. И я сел.

– Ты кто? Ты откуда?

– Я из Одессы, я еврей и живу в Берлине.

– Ты еврей? Ты здесь живешь?

И вдруг меня осенило. Наверное, это то, о чем каждый думает, о его собственном предназначении и о смысле жизни. Может это и есть моя задача, поставленная Б-гом, оказаться здесь возле старика, может меня послали к нему, а его ко мне?

– Да, я еврей, а что может вы евреев не любите? – почему-то спросил я.

– Тра джан, ты что, ты это брось. У меня внуки по их законам живут, они у меня

еврей. А я нет. Понимаешь, они да, а я нет. Представляешь, я дед не еврей, а внуки у меня еврей. В Армении это редкость.

– Это как? – удивился я.

– Ты сядь, ни гйма, ты не уходи, я тебе расскажу. Сын мой, единственный сын, женился на грия – еврейке! – и он поднял палец кверху

– Мой сын!

– И он помахал опять пальцем, как будто угрожал кому-то.

– Мой сын женился на этой грия, еврейке, и она родила ему двух мальчиков – Давида и Хайма. Можешь это представить?

Я – да, а почему вам это не нравится? – спросил я.

Он хотел, что-то сказать, но слова боролись, и он только как рыба открывал рот

– Ты ... понимаешь... да... она... как они могли... моего внука назвать Хайм? Ну, Давид это понятно, но Хайм?

– Так вы его не любите? Это же ваш внук.

Кто я? Я его не люблю? Да, кто ты такой, чтобы такое говорить? Я и не люблю? Ты что здесь сел, чтобы меня обидеть?

Слова лились, как вода, горной речки.

– Он женился против моей воли, понимаешь? Вся семья была против. Нет, не потому, что она еврейка, а потому, что они, эти еврей, не сидят на месте. И я это знал. Им все мало – денег, и земли. Им, понимаешь, СССР был маленьким, им понимаешь, Армения не то, а вот их Израиль – это то. Но они и туда не едут. Им все равно, куда ехать, лишь бы ехать. И мой сын, оставив меня, тоже поехал. Нет, он настоящий армянин, но с ней он стал немного странным. Он полюбил еврейку и перестал быть мужчиной. У нас мужчины – это хозяин, я всю жизнь был голова. А он с ней говорит, как ненормальный. Свиньяшко, птичка... кролик и всякое другое. Это не по нашему, не по-армянски. Она из всего тряпку сделала. Эти еврейки могут из любого мужика тряпку сделать. Но не из меня!

Он опять замолчал, как бы вспоминая что-то. Из его груди неслись звуки какой-то печальной мелодии. Он оплакивал кого-то. Он что-то нес в себе. И это был тяжелый груз.

– Да, я оплакиваю свою жизнь. Она была у меня там, в Армении, среди своих. А здесь что? Вы, еврей, все чувствуете и все понимаете, поэтому вас армяне и не любили. Вы же, как армяне, такие же хитрые и умные, а как можно таких любить. Таким можно только завизовать. И эта хитрая женщина уехала с моим сыном в Германию. Она забрала у меня пол жизни, а вторую забрала моя жена, когда умерла. Вот так я и живу! Подумай! Они, правда, меня потом забрали к себе, сам сын за мной приехал. Но куда они меня привезли? Я здесь не могу, я ничего не понимаю. Я сижу здесь каждый день и думаю, мое сердце уже не сердце, а просто так – одна боль.

Он посмотрел наверх, как бы обращаясь к кому-то.

Я хочу армянского воздуха. Я хочу увидеть горы, а не это болото. Я хочу говорить по-армянски...

И тогда я решил рискнуть. Я решил его вывести из этого состояния.

– Так чего вы здесь сидите и умираете? Едьте обратно в свою Армению. Пошли они к черту эти ваши дети и внуки, эти немцы со своим болотом и эти евреи проклятые...

Не успел я окончить, как он меня перебил:

– Послушай! Ты чего здесь расселся и меня оскорбляешь, ты чего а? У нас на Кавказе за это!.. – и он посмотрел на меня, как на врага

– Это же мои дети – это моя кровь. Мои дети, это моя жизнь, а мои внуки и даже она, эта гарс (невестка) тоже моя!

Он поднял обе руки кверху, как бы призывая всевышнего в свидетели

– Мои внуки!.. он задумался и сказал: Мои внуки – это мои внуки!

Тут я понял, скорее я это чувствовал, что старик проснулся и хотел их, своих детей. Давид и Хайм были его внуками – и он умер бы за них. Но я опять специально спросил:

– Хайм – армянин! Это как-то нехорошо!

– Мой внук, Хайм, не армянин, а еврей! – с какой-то гордостью сказал он.

– А у них, у евреев, Хайм – это хорошо. Евреи не дураки, если дают такие имена. И кто сказал, что евреи не люди? Я этого не говорил! Вы слышали от меня такое? Мой сын любит эту женщину, и я ее... – он замолчал, как бы искал подходящие слова, он не хотел выдать своих чувств

– Я ее тоже уважаю и даже немного... – он посмотрел на меня, как бы проверяя, могу ли я хранить тайну и, убедившись, что да, окончил: – немного люблю. Да, я ее люблю... – и слезы полились из его глаз.

– Но она этого не знает, ведь я ей никогда этого не говорил. Она мне родила внуков, это моя кровь – мои наследники. Она мне говорит папа, а как папа может не любить свою дочку? А? Ведь она у меня...

Но кавказская кровь не разрешала ему показывать свою слабость и он замолчал. Он в первый раз задумался, кто она для него. Он раскачивался, как верующий еврей и перебирал в памяти все о своей гарс (невестке) и, перебрав, тихо произнес:

– А, ведь, я действительно ее люблю, как дочь.

Теперь я уже не сдержал своих слез. Передо мной сидел пожилой мужчина и боролся со своими чувствами. Он ждал меня много лет, чтобы признаться себе, что та, которая, как ему казалось, была плохой, на самом деле была любима. Она была частью его жизни, а он этого не хотел видеть, он почему-то всегда был против нее. Теперь он это понял, и он тихо произнес:

– Яночка, моя Яночка....

Мы оба сидели и плакали. Немцы проходили мимо и смотрели на двух плачущих мужчин и начинали останавливаться и смотреть на нас.

– Alles in Ordnung. Alles Gut. – сказал я, и он старый армянин повторил за мной «аллес гуд» и еще раз по-русски «все хорошо, слава Б-гу».

Мы молча сидели и каждый думал о своем. Из этого состояния нас вывели голоса детей...

– Дедушка, дедушка, Пабик!

!! через минуту двое веселых бандитов повисли у деда на шее.

– Папа, вы чего здесь сидите, мы Вас везде ищем... – произнесла хорошенькая женщина и подошла к нему. Он снял с себя внуков, подошел к ней и впервые в жизни нарушил кавказский закон – он обнял ее. Она была удивлена, но молчала, а чувства переполняли ее.

– Ахчик, дочка, ты не волнуйся, я всегда буду с тобой, я всегда буду с вами, даже если вы и не будете. Ты должна знать, что я всегда любил и буду любить тебя ведь ты же моя дочка. Эс кес сирумэм!

– Папа, вы... – она посмотрела в его глаза и поняла, что такое он никогда никому не скажет и больше никогда не скажет.

– Папа, вы же мой папа, почему же вы спрашиваете? – и впервые, перейдя на ты, сказала.

– Ты у меня самый лучший папа в мире!

Они стояли, обнявшись, и слезы счастья захлестнули их с головой.

Подошел сын, и, обняв детей, присоединился к этим двоим, счастливым людям.

– Подождите, здесь сидел один еврей из Одессы, где он?

Он стал меня искать, но я отошел на расстояние и наблюдал все это молча, с чувством выполненного долга. Старый армянин искал меня, но я уже был ему не нужен.

Я выполнил то, что было поручено мне судьбой и пошел гулять по парку. Но прогулка не получалась. Мое сердце говорило мне, что в таких парках сидят тысячи таких людей и ждут меня. Они ждут меня, а я не знаю, смогу ли я всех обойти, хватит ли у меня времени. Я один, а их много, и сердце у меня одно, оно и страдает, и плачет и мне становится не по себе, но от судьбы мне не уйти.

И если вы увидите в парке старого армянина подойдите и скажите ему, что я – это же сон, что я есть и я всегда приду к нему, если он позовет.

Людмила Гентош-Федоринская

* * *

Судьба моя обнажена до боли.
В зеркальном озере невинных детских слез,
в нем отразилась необъятность моря,
бескрайность неба и мерцанье звезд.

Был Белый Храм резной оградой скован,
в котором сад в цвету благоухал,
в саду скамья в тени и стол дубовый,
и на столе бокал вина стоял.

Бордовой жидкостью оно плескалось,
как будто кровь лилось через края,
и со слезой соленою смешалось—
то отрезвляя, то слегка пьяня.

Зеницы гасли в сумраке бездонном,
взирая на пустеющий бокал,
и колокол звучал так монотонно,
что тишину на части разрывал.

Напрасно обмануть себя пыталась
и озеро ладонью замутить.
Я видела, кому еще осталось
из этого бокала пригубить.

* * *

Всего глоток, чтоб жажду утолить, —
глоток любви — желанный и лучистый.
А позже из колодца долго пить,
склонившись головою к влаге чистой.

Затем, смеясь и плача над собой,
в саду цветущем вишню обнимая,
узнать, что тот глоток любви святой
был плодом из утерянного рая.

* * *

Солнца блики в шепоте ручья.
В радуге цветов – дождя улыбка,
и перины белой облака,
и неумолкающая скрипка.

* * *

Мудрым – чело.
Верным – уста.
Хлеб для любви,
Соль для Креста.

Марлен Глинкин

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ.

Автобус бюро путешествий «Фортуна» бесшумно катил по дорогам Италии, приближаясь к Венеции. Пожилые туристы из Берлина и Ганновера, спешили принять участие в знаменитом Венецианском карнавале.

Все были веселы и беззаботны. Казалось, они вырвались на финишную прямую жизни и стремились к командной победе над старостью.

Впереди сидящая пара была само олицетворение любви и счастья. Он смотрел на нее с явным восхищением. Она, пожилая дама с фарфоровыми зубами, влюбленным взглядом смотрела ему в лицо, не замечая проносящихся за окнами автобуса великолепных итальянских пейзажей. Взоры пассажиров были устремлены на них.

В таком возрасте сохранить первозданность чувств – почти неправдоподобно и потрясающе!

Уже потом, на обратном пути, за столиком ресторана мы узнали небольшой итальянский эпизод из ее прошлой жизни...

Она была знакома с Георгием еще до войны. Она знала, что он прошел все круги ада фронт, пленение, концлагеря, побег, участие в итальянском партизанском движении

По воле судьбы они встретились в послевоенной Германии, куда она была вывезена гитлеровцами на принудительные работы. Их встреча стала радостной для нее, как встреча с близким человеком, как и она, давно потерявшим родину.

Он приехал из Италии, страны, с которой у нее было связано много воспоминаний, хотя она там никогда не была. Она надеялась услышать от Георгия нечто способное воскресить прошлое.

Ее интересовал маленький итальянский городок, расположенный неподалеку от австрийской границы. Она очень хорошо помнила его название, которое вертелось у нее на языке, но она была осторожна, чтобы не обнаружить особый интерес к вещам, наводящим на подозрительные размышления.

Тем более, что из-за прошлого, хотя бы и такого удивительного, нельзя было упустить настоящее. А Георгий был явно положительным настоящим в эфемерной, шаткой беженской жизни. Она сделала вид, что ее занимают утомительные для женщин эпизоды военной жизни. Но когда Георгий заговорил о Венеции, она непритворно оживилась.

– Ты был в Венеции? Расскажи. Это должно быть очаровательно! Лунная ночь, каналы, гондольеры, поющие баркаролы... Дворец Дожей, Лидо, Пьяцетта...

Георгий снисходительно улыбнулся с видом взрослого, слушающего детский лепет

– Да, был. Грязные вонючие каналы. Плыл в гондоле, но вместо баркаролы услышал...

как два пьяных американских солдата горланили «Лили Марлен».

– И это все? Впрочем, – заметила она, – ты никогда не отличался склонностью к эстетике и поэзии. Неужели ты больше ничего не запомнил, кроме пьяных солдат?

– Война и партизанщина, – наставительно заметил он, – не имеют ничего общего с романтикой.

Нет, положительно ничего не мог он рассказать ей об Италии.

– А в каких городах ты еще бывал?

Он почувствовал ее разочарование. Конечно, он пережил там много неприятных часов и дней. Но ведь она ничего в этом не понимает.

– А ты был в...ну, как его...я помню еще по географии, – солгала она. – Понтеба?

– Ты хочешь сказать Понтеба? – перебил он ее и нахмурился. – В нем я не был, но с этим названием у меня связаны чрезвычайно тяжелые воспоминания. Видишь ли, вместе с несколькими товарищами захватили в плен итальянские фашисты. Всех расстреляли. Как уцелел я – одному Богу известно. Командовал отрядом итальянец, отличающийся особой жестокостью. Его звали – сеньор Джованни из Понтебы. Высокий, красивый молодой человек, интеллигент с виду. Ты теперь понимаешь, почему я имею основание не любить этот город, которого даже не видел.

– Сеньор Джованни из Понтебы! – повторила она с необычайным волнением и слегка побледнела.

– Но я остался жив и здоров, дорогая, – сказал Георгий нежно. – И, представь себе, у меня не отобрали ни одной вещи, хотя обычно они отбирали все. Изъятый у меня при освобождении бумажник был возвращен на другой день вместе с деньгами и документами. Из него ничего не пропало: ни одной карточки, ни одного клочка бумаги. Вот он.

В доказательство Георгий вытащил из внутреннего кармана пиджака потертый кожаный бумажник и положил его перед ней. Она скользнула по нему небрежным взглядом.

– Сеньор Джованни из Понтебы, – еще раз повторила она про себя, упиваясь музыкальным словосочетанием. Потом опомнилась, стряхнув с себя вуаль воспоминаний.

– Да, да, дорогой Георгий, – сказала она и легко провела рукой по его тщательно складженному пробору, – ты жив и этого достаточно. И не будем думать об этой несчастной Понтебе.

Да, она никогда не была в Италии. И в школьные годы даже имела неудовлетворительную отметку по географии именно за этот похожий на сапог полуостров. Но незадолго до войны она узнала об этой стране очень многое и сразу же наверстала упущенное в юности. Произошло это потому, что в этом принял горячее участие красавец Джованни – корреспондент итальянского телеграфного агентства.

За несколько месяцев их знакомства она стала довольно сносно говорить по-итальянски.

Это было не трудно, так как метод преподавания молодого журналиста значительно отличался от скучных приемов, практикуемых в учебных заведениях.

Этот метод был несравненно приятнее: прерывался лирическими паузами, не требовал зубрежки и постоянного напряженного вертикального положения, столь мало приятного для хорошеньких женщин. Джованни был мил и нежен! И вдруг... жестко! сеньор Джованни – предводитель фашистов! Возможно ли это? Правда, она не могла времени говорить с ним о политике и никогда не интересовалась взглядами человека, умевшего так целовать и петь. Больше всего она любила затасканное, но несравнимое в его исполнении «О sole mio».

Он уехал, не выполнив, как водится, обещания писать. Адреса его она не знала и лишь помнила это завораживающее слово: Понтеба!

Он рассказал ей о своем детстве, маленьком городишке на австрийской границе в жареных каштанах. И этот человек чуть не расстрелял Георгия! А может быть, это вовсе не он! Не единственный же сеньор Джованни живет в Понтебе!

Она подошла к столу, собираясь убрать с него остатки ужина и посуду, и скользнула взглядом по бумажнику Георгия. «Почему у Георгия ничего не отобрали? – подумала она, машинально беря бумажник в руки. Деньги, документы... Это ее не интересует. Что это? Боже мой! Ее карточка! Ну да, одна из самых удачных, где она выглядит достаточно эффектно. Такая же была у Джованни! Она перевернула фотокарточку и прочла машинально: «Милому Георгию... в память»... и так далее – обычные трафаретные слова, которые пишут тем, от кого не кружится голова и не захватывает дыхание. Но: Что это приписано внизу? И, главное, карандашом? Нет, это не почерк Георгия и, тем более, не ее. Она приблизила карточку к своим близоруким глазам и прочла слова своего некогда любимого романа: «O, sole, sole mio, stan fronten te, stan fronten te!» У нее мучительно заняло сердце и подкосились ноги. Она была вынуждена опереться на спинку стула, в котором дремал Георгий.

С большим опозданием Джованни все же сдержал свое слово. Даже... больше того, если принять во внимание судьбу Георгия... Она молча поцеловала написанное, взяла с письменного стола резинку и, с трудом удерживая легкое дрожание руки, осторожно стерла с карточки свое прошлое...

А ее настоящее и будущее – было рядом с ней, сопровождая ее по жизни.

АСТРОЛОГИ

Гретхен верила в астрологию, но то, о чем сказала ей старуха-гадалка, было невероятным. Она сообщила имена родителей Гретхен, где она родилась, о ее болезни шестидесятилетней давности, о причине смерти отца, указав, на каком кладбище он захоронен, даже назвала номер участка. С суеверным страхом смотрела Гретхен на крупное, морщинистое лицо гадалки. Одна рука старухи, белая и жирная, украшенная кольцом с красным камнем, лежала на желтом черепе, взгляд которого был устремлен на Гретхен, другая – медленно ползла по раскрытой книге, толстой и истрепанной, как хозяйка.

Стол был покрыт красной скатертью, вышитой золотыми звездами. Старуха говорила

он медленно и хрипло: — Ты была влюблена три раза. Имена твоих возлюбленных: Фриц, Отто и Адольф. — Гретхен побледнела.

— Это были ошибки молодого месяца. Правда, ты успела переспать со всеми. Особенно тебе пришелся по вкусу Адольф. И по темпераменту, физиономии лица и, главное, многообещающее имя — Адольф. Теперь возле тебя снова четверо мужчин, и ты не знаешь, кого выбрать. Один — с белой звезды. Он высок, богат и силен. Но эгоистичен и нахулиган, в сердце у него жаба со звезды твоего несчастья. Второй — толст и надменен, в сердце у него хлопоты о себе. Да и как мужик он не очень... Третий — красив и талантлив, опытен в делах любви, но легкомысленен и беден. На нем печать твоей болезни и твоих слез. Четвертый — суровый, крепкий мужчина, чист сердцем, мужественен и горд. Он целован голубем твоего счастья! Назвать тебе их имена? — голос старухи перешел в шепот. Гретхен стало жутко. Она знает: это Сэм, Джон, Пьер и Иосиф. — Да... не... надо...

— Твое прошлое раскрыли звезды твоего гороскопа. Настоящее я вижу на звездных путях. Будущее рассказала утренняя звезда Диалектика. Вдруг старуха широко раскрыла водянистые глаза и хрипло зашептала в лицо Гретхен:

— Будешь счастлива за родившимся в ноябре, седьмого дня! Если нет такого выбора того, кто родился ближе к этому дню! Он будет гармоничен с тобой во всем... И торопись, звезды спешат.

Старуха откинулась в кресле и закрыла глаза.

— Теперь молчи... Уходи... Ты все знаешь, что дано знать человеку... Звезды устали... Стала и я...

Дрожащая Гретхен поднялась. Ей казалось, что череп наблюдает за ней. Вспомнила в деньгах. Торопливо вынула все, что имела — тридцать шесть марок, положила на край стола и, пятясь, вышла из комнаты. На следующий день Гретхен знала: Джон родился в мае. Пьер — в июле. Они сразу же потеряли для нее всякий смысл. Остались Сэм и Иосиф. Но Сэм уехал в отпуск в Америку, а Иосиф, которого целовал голубь ее счастья, не приходил. Она не знала, что радостный Иосиф бегал по магазинам, делал покупки и украшал свою комнату. Причину покупок и радостного настроения знали только он и старуха-гадалка, которой он пять дней тому назад заплатил пятьсот марок и рассказал все о Гретхен. Про знаменитую в Берлине гадалку Иосиф узнал от самой Гретхен. Она поверила подругам, что собирается узнать свою судьбу.

Иосиф хотел пристроиться к крупному наследству Гретхен, поэтому он «помог

звездам. Он родился шестого ноября, но седьмое было правдоподобней, так как всегда полагали, что день седьмого ноября — красный день календаря и, кроме того, на разницу в один день в будущем можно свалить все что угодно.

Когда через три дня все было готово — комната, подарки — Иосиф пошел к Гретхен. Гретхен встретила его нарядная и сияющая: — Как я рада, дорогой Иосиф! Поздравляю! Ты выходишь замуж. Вчера вернулся Сэм... Он родился седьмого ноября...

Нельзя шутить с астрологией! — заключил для себя Иосиф.

Елена Ещенко

ОТЧАСТИ

Антон Пивень, бывший интеллигентный человек, как неизбежно обзывала его жена Наташа, обряжался в поход. Вокруг сорокалетней антоновой талии навязали отрезанный от колготок чулок, набитый двадцатью тысячами долларов. Невозможно было уговорить людей отдавать деньги вовремя, за неделю-две до поездки, когда он делал основной перевод на свой счет в дубайском банке. Приходилось по несколько раз переписывать декларацию, перезванивать таможеннику в Кучурган, торгуясь условными фразами. Семь лет назад, до приднестровской войны, работали на одном заводе, а теперь нужда заставила найти друг друга. Таможеннику кормиться помогло происхождение, а Антону пришлось самому заботиться о себе. Маленький автобус долго петлял по городку, набивая в брюхо веселых купцов, спешивших на ранний самолет в Одессу. Переехав мост за неосвещенным кишиневским аэропортом, нырнули во тьму. Редкие огоньки керосиновых ламп в придорожных селах и фары встречных машин протыкали ночную тушь. Антон помнил эту дорогу другой, светлой, без пограничных застав. Ездили когда-то в Одессу на выходные, между сиденьями ставили ведра с фруктами, запах слив и абрикосов пропитывал машину. Мать с отцом дурачились, горланили революционную песню, Антон подкрикивал, а вечером у приятелей в садике на девятой станции Фонтана, накупавшись до шума в ушах, наглядевшись на красную морскую луну, пели тихое «У криницы» за бутылочкой бессарабского вина. Все изменилось, и некогда было вспоминать, сравнивать.

Антон сидел рядом с водителем, веселым молдаванином Костей – нечасто доводилось ездить пассажиром, ловил себя на том, что левой ногой ищет сцепление, когда Костя меняет скорость. Внезапно Костя стал заваливаться в антонову сторону, не выпуская из рук руля, машину повело, а Антон почувствовал на лице холодный мокрый воздух. Антон вцепился в руль, неудобно перегнувшись через осевшего водителя, пытаясь дотянуться ногой до тормоза. Потом понял, что останавливаться нельзя – светлая машина, минуту назад обогнавшая их, притормаживала, горели задние фонари. Антон успел удивиться, что на машине нет номера, прежде чем догадался, что из белой машины снова будут стрелять. Он смотрел только на дорогу, краем глаза видел над гырбовецким лесом отблеск недалеких тираспольских огней. Выстрела он не услышал, только ощутил, как дернулась машина, когда пуля пробила колесо. Он вдавил в пол педаль акселе-

ратора, люди в автобусе молчали, машину мотало, Антон правил ее рулем. Лес оборвался. Впереди, за расставленными на дороге в шахматном порядке бетонными глыбами, стояла будка пограничников, бывший пост ГАИ. В зеркало заднего вида Антон увидел, что белая машина, еще скрытая лесом, притормозила и развернулась на дороге. Слава мерседес, — пробормотал Антон с грузинским акцентом, и все семеро в автобусе разом заговорили. Пока вызывали скорую и составляли протокол, меняли простреленное колесо, все продолжали слишком громко говорить. Потом, уже за Тирасполем, по кругу пустили бутылку коньяка. Пили все, кроме Антона — он сидел за рулем, обе женщины — светлая молодая и другая, постарше, пили наравне. Антон добирал свое уже в самолете. В туалете валялись кучки презервативов, иные провозили деньги по старинке, избегая поборов, но рискуя потерять все. В самолете большинство было давно знакомо, сплетничали, говорили о повесившихся от долгов игрушечниках, однокурсниках Антона по физтеху. Помянули неудачников, закуску — вертуты с сыром принесла светлая девушка. Она не отходила от него, села рядом в автобусе из аэропорта.

Прилетели во второй половине дня, но Антон успел объехать большинство знакомых лавочников, раздать заказы, поторговаться. Он не брал много товара в долг, выплачивал вовремя, ему верили прижимистые индусы, державшие оптовую торговлю ширпотребом. Бедуины нанимали торговать индусов, строить — англичан, а всю грязную работу оставляли пакистанцам. Когда-то Антона ужаснул вид худых бородатых работяг в серых длинных рубашках, трамбующих песок на жаре. Но за пять лет привык, как привык к старикам с проволочными крюками у помойки собственной пятиэтажки.

Антон пришел в свой номер, когда все разошлись из общей гостиной, ему захотелось постоять в саду, где в воздухе перепутались запахи пустыни, незнакомых цветов и залива. Глядя на оловянные звезды, он чувствовал себя одиноким и таким легким, что, казалось, ветер может приподнять его.

Зайдя в комнату, он хотел включить свет, услышал смех и разглядел женщину, лежащую на постели.

Время не скрипело в настенных часах, пока мужчина не приподнялся и еще разгоряченными руками не нащупал в брошенной на полу рубашке сигареты. — Уже полпятого, — пожаловался он — Ты первая?

Она встала и пошла в ванную, он курил лежа, накинув на бедра помятую простыню. Потом стоял под душем, пока не замерз.

В последний день поездки, прикинув заработок, покупал домашним подарки, долго выбирал Наташе кольцо, обошел несколько лавок, поддакивая хвалебным речам ювелиров, и купил более дорогое, чем хотел сначала. Они познакомились еще в школе. Засыпала, обняв его поперек живота, жалась к нему, пряталась. Он словно стороною видел ее морщинки, полные руки. По утрам ему приходилось подхлестывать себя, но он смирился.

Вечером он разболтал женщине о кольце. Они сидели среди подушек в широкой гостиничной койке друг против друга. Он гладил ее пальцами ног. — Покажи? Сколько карат? — загорелась она.

— Два карата, — он протянул ей бархатную коробочку с тумбочки. Она рассмотрела сверкающий ромбик и сказала: — Да где овце его носить? Она ж дома сидит.

Он отстранился и спокойно посоветовал: — Иди отсюда.

Увидел ее утром, во время завтрака. Объясняться не хотелось. В самолете, как повелось, много пили, он не подошел к ней и там. Его тело помнило ее, но он знал, что так будет не долго. Домой возвратились в метель, Наташа весь вечер проторчала у окна, ожидая его — помогала таскать кульки из машины. Впереди было несколько дней покоя — самолет с товаром ждали через неделю.

Утром снег за окном перестал и лежал ровным слоем, облагородив стройку напротив дома. Наташа проснулась нездоровой, смотрела испуганно. К концу дня пришлось пойти к знакомому врачу, подтвердившему худшие антоновы опасения.

Объясниться не было возможности. Он нанял медсестру, кололи обоих, Наташе добавляли снотворное, он поехал в Одессу за товаром, перезванивал несколько раз, она не брала трубку. Фура с магнитолами стояла в длинном ряду грузовиков у таможни, снег валил, дворники не справлялись с работой, приходилось вылезать, чистить лобовое стекло. Пару лет назад новое правительство создало в городе свободную торговую зону, обещали десять лет не менять правил, народишко, почуяв наживу, поднатужился, наташил товара. Лавки внутри зоны снимали за бешеные деньги, купцы платили терпимый налог, казна наполнялась. Неожиданно верхи переменялись, зону обложили несметной данью, люди сжигали склады с товаром, кто-то отдавал добро новым хозяевам за бесценок, Антон остался с половиной капитала, но устоял. С тех пор работал нелегально — то расписывал ввозимый товар на десяток человек, то оформлял, как есть, на себя, вез на свой страх до укрытия, потом возвращался, чтобы уничтожить бумаги на таможне. Старался переходить границу под утро, подгадывая смену знакомого таможенника, рисковали оба в большей степени, чем вывозя деньги.

Начались будни, с раннего утра развозил свою электронику по торговым точкам, раздавал заказы, домой приходил за полночь. Дома было тихо, один ел на кухне. Наташа перестала есть, потом снотворное не действовало. Однажды ночью выловил ее с бритвой в руке из полной ванны, ударил по лицу, оттащил в спальню, сам поставил укол. Она глупо плюнула в него, попала на руку. Он сидел в кухне до утра, приканчивая бутылку коньяка, прислушивался, вздрагивал от шорохов. Хотелось освободиться от всего, для следующей поездки не было достаточно заказов и нельзя было оставить ее. Все стало невыносимо и некому было помочь. Теща, учительница литературы, третий год обживалась на

новом месте – то ругала соплеменников, то звала к себе, Антон колебался, летали с Наташей в гости, потом пришлось менять паспорт – иначе не впустили бы эмираты. Теща ударилась в религию, от славянофилов утекла к хасидам, пыталась в письмах наставлять дочь, посылала брошюры. Заботилась о том, до чего человеку не должно быть дела, о пустоте до и после себя. Когда-нибудь все кончится, как оборвалось оно для Кости-водицы, и незачем заранее беспокоиться. В доме у тещи никогда не бывало обеда, пока были в гостях, готовила Наташа. Мать забирала иногда Катюку. Наташа не любила отдавать туда дочь. Первые годы жили вместе, остались мелкие обиды, нелепости, он злился, но ни одна из них не хотела уступать. Он заставлял встречаться пару раз в месяц, мать все драматизировала, разруха уничтожила институт, где она работала, жить стало нечем. Отец возился на даче, таскал мешки с картошкой, тыквой, сам крутил баклажаны, в город приезжал редко, в их затен не вникал, брезговал. В один из дней Антон наведлся к нему на дачу, сидели за столом, неожиданно позвонила Наташа, Антон обрадовался, а потом понял – температурит Катюка, Наташа поднялась с ней в больницу, значит – невозможно плохо.

Оказалось – поместили в реанимацию, воспаление легких. К ним с отцом вышел усталый парень, завотделением, сказал, что дело – дрянь, сделают все, но нужно ждать, все решит первая неделя. Покурили немного, тот дал свой номер и ушел, не хотел, чтобы видели другие родители.

Катюка родилась тяжело, боялись самого плохого, Антон плакал под окнами роддома, стыдно сгибаясь пополам, Наташа смотрела сверху, молча, вцепившись в подоконник. Говорили, что ребенок израстется – то к пяти к годам, потом – к школе, теперь ждали подросткового возраста. Дочь была – вылитый он, самая мелкая в классе, о чем неприятно вспоминать, но шустрая, хулиганила, дыру вертела на месте, нельзя было заставить сидеть за книгой. Засовывала ему под подушку куски печенья, когда Наташа язвила его весом. Он таскал из-за моря диковинные фрукты, пестрые восточные платица, туфли с бантами, дарил золотые побрякушки, научил ездить на велосипеде, хотя Наташа была категорически против, сам мазал зеленкой ссадины на коленках, доставал занозы, учил терпеть.

Неделя тянулась бесконечно – ни на третий день, ни на четвертый температура не спадала. На пятый день Антон пошел на вечеринку, юбилей владельца нескольких магазинов, постоянного клиента. Отказать кормильцу было бы невообразимой наглостью. Заполночь гости разбрелись по дому, большинство мужчин стреляли в подвальном тире, кто-то плавал в бассейне, Антон долго сидел в парилке, расслабленно, блаженно. В какой-то момент остались вдвоем с молодой женой хозяина, он поднялся с полки плеснуть на камни и почувствовал, как она обняла его сзади, была пьяной, но не настолько, он сделал вид, что все происходящее – шутка. Вечером, в пустой квартире, подставив голову под холодную воду, еще не протрезвевший, он все не мог отделаться от ощущения ее груди. Снял с верхней полки шприц, наполнил его водой. Холодный стержень

воды обжигал. Из зеркала за жалкой попыткой умерщвления плоти насмешливо следила мясистая рожа, под углами глаз корчились морщины.

В полдень шестого дня он приехал к человеку, к которому истерично послала по телефону теща. Воткнул машину в талое месиво в небольшом кишиневском переулке, открыл огромную дверь, долго ждал в зале, разглядывая зодиаки на потолке, высокие окна, бархатную расшитую завесу, мраморные доски с крючковатыми надписями. Ему дали небольшую шапочку, он надел ее и вошел в кабинет к старику. Старик был светлый, голубоглазый, вдоль стен стояли высокие полки с книгами, в середине — стол под заношенной бархатной скатертью. Старик слушал внимательно, рассматривал принесенные Антоном бумаги и фотографии. Непонятно было, что заставляет старика интересоваться всем этим, он говорил так, словно давно знал Антона. Ладони старого человека были похожи на руки антонова деда — квадратные, широкие. Старик объяснил, что бояться ничего не нужно и добавил, что даст «броху». Антон запомнил новое слово. Почему-то не хотелось уходить, просидел потом несколько часов в последнем ряду зала ни о чем не думая, слушая негромкие голоса и законный дождь. Когда пожилая женщина в платке начала мыть пол, Антон поднялся и ушел, было уже темно, прохладно, но не так промозгло, как накануне.

Ночью позвонила Наташа — жар спал, Катька, вся, по наташиным захлебывающимся словам, мокрая, пропотевшая, уснула. Утром повез в больницу соки, серебряную ложечку, которой в младенчестве кормили Катьку, таблетки по списку. Наташа вышла к нему, говорили с заведующим, тот объяснял что-то внушительно, поглаживая подбородок, Антон благодарно жал руку. Наташа была в больничном халате, волосы выбивались из пучка, глаза — с полопавшимися жилками. Пока прикуривали, кончиком сигареты не попадала в огонь.

Через две недели забирал их домой, Наташа села на свое место в машине, Катька внимательно разглядывала уже просохшие от весеннего солнца улицы, толстые почки на каштанах. Неподалеку от дома, переключив скорость, он не убрал руку, а положил около наташиного сиденья ладонью вверх и ждал. Почти около подъезда почувствовал тепло ее ладошки.

Мальвина Зор

МЕЧТА

В одной стране далекой,
В далеком одном краю
Мечтатель одинокий
Искал Мечту свою.

Он утром в путь пустился,
Черноволос и юн,
Он с матерью простился
И слился с тенью дюн.

Он шел пешком и ехал,
Скакал верхом и плыл;
С печалью и со смехом
Взвивал дороги пыль.

И дни сменяли годы,
И ночь сменял рассвет...
Поэмы сменяли оды...
Вот только Мечты все нет.

* * *

Он знал уж в лицо все страны,
Разрез глаз всех женщин Земли,
Цвет волн всех океанов...
...Край родной показался вдали.

Он шел дорогою детства,
Его замедлялся шаг,
Его замирало сердце,
Тяжелей становился рюкзак.

У храма – новая крыша,
Плющ его овладел стеной,
Деревья стали повыше
И виден уж дом родной.

Здесь, помню, после работы
Отец в тени обедал,
Мы здесь играли в субботу
С соседской девочкой в «дрейдл».

На пороге соседского дома
Она – та и будто не та.
«Простите, мы вроде знакомы?
Как звать Вас?» – «Меня? МЕЧТА».

* * *

Мне не уснуть сейчас,
Покоя не найти.
Сочится свет из глаз,
И воля взаперти.

Тебя мне не забыть
И не унять тоски.
Сознания рвется нить,
И сердце – на куски.

И чувств мне не понять
Моих, таких чужих...
Но ляжет тенью прядь
И станет сном мой стих.

* * *

Отцу

Берлин бросает крошки марта,
Весну, прикармливая так,
И кошки, полные азарта,
Чредой стремятся на чердак.

Расплескивает сердце краски,
И мысли скачут вразнобой,
И вдруг, с одной твоей подсказки,
Я становлюсь сама собой.

Маргарита Их

ПОРОГ

Этот старый дом в тихом переулке у Красных ворот еще стоит. Венецианские окна смотрят в скверик с высокими тополями. В этом доме в бельэтаже жили родители моего мужа. Мне нравилась их квартира с белыми стенами, большим черным буфетом, цветами на широких подоконниках. И они сами мне нравились, и я им, наверное, тоже, я слышала, как свекровь говорила кому-то:

– Нам с невесткой повезло – хозяйственная, а уж Диму как любит!

Нашим добрым отношениям способствовало то, что жили мы не в Москве, а в дальнем Подмоскowie. В Москву выбирались не часто.

Любила ли я мужа? Тогда думала, что люблю, теперь – не уверена. Но жили мы дружно, как в народе говорят – жалели друг друга. Все как у людей: по субботам – друзья, по воскресеньям – кино, к Новому году – подарки: мне новое платье, даже однажды – шубу, Диме – джинсы или горные лыжи. Ночью тоже все хорошо – после Этого не отворачивается, одеялом укрывает.

Подружки спрашивали: «Как у вас?»

Как, как? Когда как. А в общем все, как обычно у всех, – отвечала заученно.

В первую же брачную ночь я поняла: чтобы не обижать мужа надо врать и притворяться. Это было не трудно: научилась делать движения в лад и стонать. Вины не чувствовала, была уверена, что все поступают так же. Лишь подозревала, что все женщины живут в разочаровании.

Шло к тридцати годам. Московские подружки обзавелись любовниками, хорошели. Я об этом не думала, здесь это было невозможно, да и не нужно.

В то лето мы с Димой, возвращаясь из отпуска, провели с родителями весь день, вечером Дима повел их в кино, я осталась готовить ужин. До отъезда оставалось совсем мало времени. Я быстро управилась, собрала сумки, забралась с ногами на подоконник и стала ждать. Они должны вот-вот появиться, тогда я поставлю разогревать еду. Было хорошо, подоконник хранил дневное тепло, залетали увядающие цветочки липы. Подошел парень, почти мальчик, попросил пить. Я мельком взглянула – худенький, стройный, лица не разглядела. Побежала на кухню, в кружку плеснула

воды из-под крана. Но до воды парень не дотянулся – не смог или не захотел:

– Открой дверь.

Я открыла, он толкнул меня в коридор, захлопнул дверь. Отвел в сторону мою руку с кружкой, даже не пригубил. Бросил меня на пол. Пол был теплый, но мне стало холодно, я вся дрожала. Рукой уперлась в плечо парня, рука постепенно слабела.

– Тебе холодно? Я согрею.

Он сбросил рубашку и прижался теплым телом. Действительно, мягкая близость горячей чужой кожи согревала. Он расстегивал халатик, я не возражала, знала, что будет сейчас, все принимала, как неизбежность, только шептала:

– Скорее, скорее.

Непостижимо, но мои руки, помимо воли, притягивали его к себе. Под потолком за клубился туман. Земля закачалась. Я не подозревала, что в жизни возможно столько счастья... Быстрые бездушные импульсы. Потом осторожные прикосновения теплой руки. Он поднялся, я увидела его стройную худощавость, капельки пота на плечах. Он молчал. Трудно было представить, что происходило в его душе. Сказал, что будет ждать меня в семь часов в сквере три дня подряд.

– Я не приду, не смогу.

– Сможешь.

Дверь захлопнулась, и почти сразу вошли родители. От мысли о том, что могло произойти, вся похолодела. В одно мгновение могло все кончиться, у меня не было бы ухоженной квартиры, верных друзей, интересной работы. Если бы Дима был один, он бы простил, но из-за родителей это невозможно. Я подумала: невозможно и не надо. Наша с Димой любовь – такая ли крепкая, друзья – такие ли верные, работа – такая ли интересная?

Но при виде мужа, волна стыда захлестнула, я краснела и задыхалась. Моя умная свекровь умела находить выход из любой ситуации, взглянув в мое встревоженное лицо, сказала:

– Нельзя пить воду из этой ужасной кружки, пойдй попей нормальной воды.

Она давала мне возможность отвернуться. Я ухватилась за это, подумала – сейчас выйду на минуту, а когда вернусь – все будет нормально, но взглянув на мужа поняла, что ничего нормального уже не будет никогда. С его лицом произошли странные изменения, исчезла юношеская миловидность. Оно стало серым. Я взмолилась:

– Я люблю тебя, я всегда буду любить тебя, но сегодня разреши мне остаться. Как знать, это было правдой или ложью?

– Нет, сегодня мы уедем вместе.

Хрипло гудел паровозик. Мелькали станции – Башкино, Ворсино, Балабаново. Всякий раз решала – сойду на следующей, но не сошла. Уже кончились серо-бурые подмосковные поля, рощицы. За Нарой начались леса. Наконец-то сошли на нашей станции. Вдали замелькали огоньки проходной. Мне выдали пропуск, подняли шлагбаум, я влилась в поток, который, если верить физикам, на замкнутом круге равен нулю.

АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА

Магазин «Плюс» в Кройцберге – маленький, темный. Покупателей здесь много, и неудивительно: семьи у всех большие. У входа, на тротуаре – множество ребят. Собаки, вытянув мордочки, ждут какого-либо угощения. Я вошла в переполненный магазин, за тележкой стоять не стала. Медленно продвигалась вдоль прилавков. Передо мной втиснулась девчушка лет восьми. Я мельком взглянула – худенькая. Потом пригляделась и, как говорится, забыла зачем пришла, до того интересна была девочка. Она не была турчанкой: турки детей умывают, наряжают. А эта – в полинялой застиранной юбке, растоптанных кроссовках. Но была она настоящей красавицей. До плеч волосы давно не чесаны, но были до того тяжелы, что не путались, а плотно лежали при каждом повороте головы, перекатываясь, как морской прибой.

Личико маленькое, треугольное, глазки блестят, как мокрые морские камешки.

Дошла я за ней до закутка, где на полках разложен шоколад. При виде его личико девочки порозовело, глазки расширились. Осторожно, одним пальчиком, она потрогала плитки, погладила, подровняла, раскрыла грязный кулачок – в ладонке лежали «центики». Стала пересчитывать их и выкладывать на полку стопками. Стопки получились низкие, на шоколад не хватало. Она вздохнула и пошла дальше. Я отыскала приглянувшуюся ей шоколадку, решила купить для нее. Расплатившись, стала ждать девочку у входа. Она выходила, глядя на меня в упор, – в глазах ее был испуг. Я протянула ей шоколадку, девочка улыбнулась, на мгновение исчез страх, но тут же вспыхнул снова. Несколько секунд она напряженно думала о чем-то, потом задрала высоко юбку – обнажился смуглый животик с розовым пупочком-клубочкой – оттянула резинку трусиков, вынула пачку печенья. С этой пачкой забежала обратно в магазин и положила ее на стеллаж. Все произошло так быстро, что никто ничего не заметил.

Я вышла из магазина чуть позже ее. Девочка стояла в кругу чумазых ребятшек и каждому в ладонку клада по крупинке шоколада. До пере-

крестка мы шли вместе. Я спросила их: «Откуда вы, ребята?» Они отвечали на каком-то непонятном мне языке, переживая, что их не понимают. Потом они спросили меня, кто я такая?

– Их бин руссиш.

Все заулыбались:

– А-а, ду бист автомат Калашников!

В ПОЛИЦИИ

На третий год после свадьбы Беллочка и Наум решили эмигрировать. Этому были две причины.

Первая – в НИИ Науму третий год не давали тему для диссертации, вторая – Беллочка не могла привыкнуть к ежедневным, по шесть раз на дню, звонкам Наума к своей Мамочке и еженедельным обедам у той же Мамочки.

Берлин выбрали потому, что все говорили: берлинцы вежливы и доброжелательны, но надо выучить немецкий язык, без которого в Германии делать нечего. Немецким занимались с подругой Мамочки и в ее непосредственном присутствии. Подруга преподавала английский и немного знала идиш. Но говорили, что это одно и то же. Во время занятий выпивали два чайника чая, съедали коробку конфет. В результате Беллочка знала шестнадцать слов, Наум не знал ни одного, а Мамочка села на диету.

Приехали в Берлин и сразу пошли прописываться. Говорили, что прийти в полицию надо пораньше, чтобы быть первыми. Пришли. Сели. Ровно в восемь дверь отворилась. Вышла женщина-полицейский. Наум встал и сказал:

– Гуд бай, фрау Циммер!

– Наум, откуда ты знаешь, как ее зовут?

– Так на двери же написано! Циммер сорок восемь. Это, наверно, ее возраст. Просто молодо выглядит.

– Да, у женщин здесь легкая жизнь, – вздохнула Беллочка. – Сорок восемь – это номер комнаты.

Фрау Циммер дико взглянула на них и захлопнула дверь. Потом дверь отворилась, вышел полицейский, сверкнул ослепительно синими глазами и сказал: «Морген».

Беллочка все мгновенно поняла: полицейский назначил им, а вернее, ей одной свидание на завтра. Они быстро ушли. Весь день и часть ночи прошли в страшных сомнениях. Вставал извечный женский вопрос – что надеть и в чем пойти? Дело в том, что впопыхах Беллочка не успела разглядеть, в чем немецкие женщины ходят в полицию прописываться. В

конец концов остановилась на рекомендуемом Диором скромном черном платьице. Беллочка решила его немного оживить и приколотла на плечо красную розу. Еще надела скромных четыре браслетика. Так, пустяки, 333 пробы.

Немного опоздали. Полицейского встретили на лестнице. Он улыбнулся и сказал: «Морген». Беллочка все поняла: ему что-то мешало и свидание переносится на завтра. Но к вечеру ее стали одолевать сомнения: что-то тут не так. На третий день решила идти в свитере и джинсах и была права. Но все повторилось. Полицейский вышел, сказал: «Морген» и закрыл дверь. Беллочка поняла: ее оскорбили. Она вскочила и громко спросила:

– Кто здесь знает немецкий?

Откликнулась пожилая дама, выкрашенная в рыжий цвет. Вообще-то она тоже когда-то преподавала английский, но может помочь. Все трое ворвались в комнату 48 и пошли стеной на полицейского:

– Люди третий раз приходят, а им говорят: «Морген!»

Полицейский ничего не понимал, медленно сатанел и все глубже вдавливался в кресло. Тут из-за стола вышла фрау Циммер и попыталась вызвать огонь на себя, но говорила она на чистом немецком. Ее никто не понимал. Наум вдруг заметил, что полицейский тянется к телефону.

Наверно, он хочет позвонить своей мамочке и спросить совета. Зная по опыту, что это усугубит положение, он кинулся к столу предупредить, что этого делать нельзя. Но вследствие таких необдуманных поступков они с Беллочкой и оказались в Германии в полиции.

Но, к счастью, фрау Циммер разобралась в ситуации и сказала, что если базар не прекратится, она вызовет наряд полиции – последствия могут быть самыми серьезными, вплоть до выдворения из страны. Хотя ее никто не понял, но все послушались.

Так как немцы вежливы и доброжелательны, все быстро помирились и попросили друг у друга прощения. На прощание фрау Циммер сказала несколько слов, Беллочка все поняла. Фрау Циммер советовала побыстрее выучить немецкий язык. Было только непонятно, как можно выучить язык, на котором «доброе утро» и «завтрашний день» обозначаются одним и тем же словом.

ПИСЬМО

Это письмо много лет назад дала мне подруга, недавно после почти полжизненного перерыва вспомнила: «А ты все хранишь письмишко?» Я спросила, отправила ли она его тогда. «Не помню» – сказала она, – «кажется, отправила, но ответа не получила. Они ведь были в командировке на той метеорологической станции, могли уже уехать». Покопавшись в моих бумажных завалах, я нашла письмо. Подруга пробежала его глазами и отдала мне опять: «Я и забыла, что мы были такие. Это теперь уже литература».

Вот это письмо, только имена в нем другие.

«До Баку меня ничто не сможет отвлечь от воспоминаний о тебе. Я не хочу, чтобы меня отвлекло что-нибудь, пока я не успею их вычерпать. Думаю, что до Баку я это успею. Надо вычерпать все до дна, чтобы не оглядываться потом, не прислушиваться – что звенит?»

Письмо в стихах. Потому что стихи – это значит исчерпать свое сердце. Я хочу вычерпать свое сердце, чтобы можно было его наполнить новым.

«Черкни мне письмо,» – сказал ты, и вот я черкнула. Хватит ли у тебя терпения прочитать его?

Вот и кончились горы. Синие горы. Скалистое ущелье. Высеченные из камня дворцы и бастионы. Страна гор простилась с нами последними, странными, как грибы на равнине, холмами Пятигорья.

Я привыкла видеть горы скопом, все вместе, ущельями, хребтами, и эти неизвестно откуда взявшиеся горбы мне странны и удивительны. Тебе – нет, не были бы. Ты объяснил бы, как и почему они здесь возникли и даже сказал бы – когда. Наверное, это начиналось бы так: «В результате тектонического сдвига...» – и дальше много-много очень умных слов. Да ты ведь советовал мне почитать про это в книге «Глазами ученого», обязательно прочту.

Вот и кончились горы, Санька, а твой профиль все еще так легко представить на их фоне, вplyвающим в ветровое стекло машины. Твой чеканный профиль, медальный загорелый профиль. Кажется, я бы могла его

сейчас нарисовать здесь на бумаге, так ясно я его вижу. Не стоит, возможно — я ведь не знаю тебя — чтобы я писала тебе это, а тем более, чтобы ты читал это. Но ничего на свете нет, что стоило или не стоило, имело или не имело бы своей объявленной ценности. Это — всегда только та стоимость, которую предмет имеет в глазах людей. Ну а я выдумала тебя.

Санька, я ведь выдумала тебя, и сначала ты так мило подыгрывал мне в этом, что я и вправду заподозрила в тебе родственную душу сказочника. Вот ушел с соседней платформы поезд в Москву — почему я не поехала с ним — ведь завтра вечером я была бы в Москве, на своем месте, на котором меня ждут и на котором я так нужна.

«Ты так ничего и не рассказала мне о себе...» Нет, не рассказала. Кроме сомнений, что это действительно тебе нужно, я не хотела портить выдуманную сказку возвратом к действительности. Может быть, и не к очень плохой и очень нужной нам — из чего будут делаться сказки, если нет опоры под ногами, — действительности.

Я не могла сесть в тот поезд, так же, как не могла бы сесть в самолет — они слишком быстро доставят меня в мир моей реальности, а этот резкий переход мне тяжел. Я должна вернуться постепенно. Для этого всегда есть два способа: спать и писать. Спать я уже спала — вчера и сегодня, хотя ночь была бессонной, это мне не поможет. Более верно выписаться. Писать до тех пор, пока все, что мешает, не уйдет в бумагу и станет опять легко, свободно и понятно.

Поэтому я еду в сторону обратную той, в которую мне нужно. Правда, там, куда я еду, мне, видимо, будут рады.

Я помню последние минуты в лагере, синее рассветное небо — рассвет в горах — и мы с тобой около автобуса. Я сумела опять все перевернуть и стать выше роли, в которую уже вжилась — я смеялась и целовала тебя, я злеть просто радовалась последним минутам с тобой, героем моей минутной сказки.

Ты, конечно, ничего не понимаешь. Ты ничего не понимаешь, и очень мала вероятность того, что даже при всех моих объяснениях и искренности поймешь что-нибудь. Я представляю, какой образ остался в твоём воспоминании — своевольная, эксцентричная и театральная.

Да, конечно, я делала маленький театр на дому, это точно, Санька. Но как женщине, пошедшей за первым встречным, оправдать себя иначе как мгновенной и всепоглощающей любовью? И мне так хотелось, чтоб ты любил меня.

В зеркале — усталое темное лицо, напряженный взгляд и белые черточки-морщинки в углах глаз. За что любить меня, Санька? Вспыхнуть, зажечься за минуту, как было это с нами в первые две встречи — только это. Можно это не выходить из роли. И тогда это продлилось бы еще недолго.

Да, на Чегете я вышла, конечно, из роли, выскочила, это было так естественно для меня. Катиться на лыжах с горы быстрее тебя, хотя и не на параллельных, это непростительная ошибка с моей стороны, а уж все последующее и тем более... все то, что я потом старательно пыталась замаскировать шуткой, женской слабостью, заискивающим восхищением. Мне нечего терять, Санька, у меня ничего нет – это я о тебе, конечно, поэтому я позволяю себе писать все, как хочется. Не играть совсем – значило бы отрицать реальную ценность твоих поцелуев, ласки твоих глаз, рук.

О да, я хотела бы быть моложе и красивей, тогда мне легче было бы сочинять сказки. Но и сейчас, глядя на себя в зеркало, благословляю твою щедрость, позволившую тебе целовать это обветренное лицо.

Каждый раз как мы встречались с тобой, не я первая узнавала тебя. Ты помнишь, мы грелись с Ирккой у батареи на твоём руднике, и я сказала ей: «Посторонись!», когда шел ты. Но как сейчас памятен мне четкий рисунок твоих бровей, внимательная небрежность глаз и нежность шершавых губ, касающихся моей щеки.

Ты – мальчик, самолюбивый мальчик, трудно было не поддаваться соблазну говорить в твои недоверчивые глаза, что я потеряла голову, что я наверное сошла с ума ...

Санечка, Саня, не сердись на меня, моя беда в том, что, выдумав что-нибудь, я сама первая становлюсь жертвой своей выдумки. Я забываю, что это выдумано, и огорчаюсь, когда обнаруживаю несоответствие между созданным в воображении и существующим в жизни.

Вот такая это была история, вот как это выглядело.

Баксанское ущелье. Автобус. Поющие туземные дети. Две пассажирки на переднем сиденье справа, следы свежего загара на лицах, брюки, куртки. Одна смотрит в боковое стекло, вторая не отрывает глаз от наплывающей панорамы ущелья. Тонкая шея стеблем вырастает из открытого ворота белого свитера и диковинным цветком несет голову с изумленными и сияющими глазами. Это синие горы, никогда ранее не виданные синие горы. До сих пор они всегда были зеленые, черные или ослепительно белые.

Она смеется. Смеется ее подруга, и так подетать им белозубая открытая улыбка попутчика, и так непринужден их разговор о трассах Чегета, о снеге Чегета, о его мастерских лыжах Blue Slalom. И молодой снобизм их речей – их, причастных к таинству горнолыжных склонов. Это прекрасные минуты, и если бы не было уже сказано, следовало бы сейчас сказать – остановись, мгновенье!

Ты сказал: «Ведь было еще и другое».

Да, было, но это уже вниз с горы.

Эти минуты хороши тем, что всякий – всякий пока еще! – может и

умеет сочинить сказку. Чем дальше, тем все больше в силу вступает инерция и выносливость – кто дольше? Однако сказки тоже делятся на современные и несовременные. Каюсь, Санька, я придумала несовременную сказку, в наше время лучше идут сказки о легкомысленных влюбленных, не задумывающихся ни об одной из следующих минут. Моя сказка несовременна, что я сама почувствовала – ты же видел это – в последнее прощальное рассветное мгновение.

Но ты дал мне начать сочинять мою сказку, и за это спасибо тебе.

Я очень хочу спать, прости мне сумбурность моих речей. Смыкаются веки, а перед глазами опять встают призраки моей сказки, все несущие ответ тебе присуших черт – как все дни со времени нашей первой встречи.

Нет, в наш век совсем не популярны огнедышащие страсти, от душевного пожара отшатываются в испуге, минуй нас, Господи! Все должно быть легко, весело, мимолетно. Моя вина в том, что я не выдержала условий этой игры. Все равно как если бы в комедии «Двенадцатая ночь или что вам угодно» актеры сбились на патетический тон «Ромео и Джульетты».

Санька, мне бы хотелось увидаться с тобой, видаться время от времени с тобой – я немного изменю условия сказки, и все опять будет на своих местах.

... Ты сказал: «Вы сойдете немного после меня, у аптеки». А я сказала: «И мы расстанемся?»

Ты взглянул на меня пристально и легко – как бы передать мне выражение твоих глаз? Ты засмеялся: «Нет, не расстанемся!»

Аптека была закрыта, и мы под твоим милым конвоем отправились в другую и по дороге скалили зубы – это мы с Ирккой иногда умеем – подгрызая друг другу. Двое – это ведь уже толпа.

И когда ты спросил у молоденьких продавщиц универсама – и в Тырнаузе есть универсам – «Вы выписали пластинки?», сверкнув своей улыбкой, – не ослепил ли ты их, Санька? – я подумала: о, этот мальчик признанный сердцеед Тырнауза. Ты нахмурился как-то потом, когда я сказала тебе это. Зачем действительно говорить тебе такие вещи, это пока воспринимается тобой не комплиментом, а бестактностью.

Для каждой сказки нужен начальный импульс и последующие – до того порогового значения, когда надобность в них отпадает и процесс идет сам по себе. Мы до порога не дошли, а начальным импульсом для каждого из нас явилась белозубая улыбка на загорелом лице партнера. Последующие импульсы... «Что у тебя с ушами, Катрин, обморозила?» – «Нет, просто не мазала последние два дня, обгорели».

О эта жадность северянок к солнцу, к загару, ты будешь наказана за это, Катрин.

«Всякая экспансивность чем-то вызвана». Что ты хотел сказать этим?

Поверь, мой загорелый мальчик с руками, которые умеют крепко обнимать, с глазами, которые умеют смотреть значительно и тщеславно удовлетворенно, с губами шершавыми и жадными, с меня хватает поцелуев на этом свете, может быть, их даже немного больше, чем нужно для успешной учебы в аспирантуре. И вообще – никаких объективных обстоятельств для моего оправдания нет.

Но будем продолжать нашу историю. Всех встреч было четыре. Первая была столкновением заговорщиков, по условному паролю узнающих друг друга на дорогах жизни, и продолжение, казалось, накатывалось как по рельсам.

Обратный автобус опаздывал на полтора часа, ты подкормил нас сыром в шашлычной и напоил Ирку пивом. Солнце соскользнуло за гору, в ущелье поднимались туман и тьма.

«Девчата, сказал ты, – может пойдем к нам на рудник, а утром уедете? Мне жалко расставаться с вами, девы».

«Видишь ли» – переглянулись мы с Иркой, – «мы ведь малость чокнутые. Можем и пойти, а делать этого не следует, будут объявлены поисковые работы и вызван спасотряд».

«В таком случае установим регламент, девы».

В наш темный угол забрел тип. «Вы до Терскола» – с полицейской уверенностью сказал он, – «пойдемте, нужно поскандалить». На свету обнаружилось его вялое лицо и наглые глаза – он знал, что скандалить поможет, и найдя пригодными для этого нас, повел в комнату-канцелярию на задах автовокзала.

Право, регламент уже истекал, и никакого стимула скандалить я в себе не обнаружила. Мы с Иркой стояли, выпихнутые им под яркий свет голой лампочки, и парировали нескладные остроты заполнявших комнату шоферов. Однако и этого почему-то оказалось достаточно, тип тронул меня за рукав. «Что?» «Ничего! Все в порядке. Будет автобус».

Право, откуда их только леший носит, таких типов?

«До завтра, Саня?» «До завтра, Кати!»

Ты посадил нас в автобус и постоял в сгустившейся тьме около двери, свет упал на тебя, голубая штормовка, голубые лыжи, помахал рукой и растворился в темноте. И я едва не крикнула тебе «Саня!».

Двери закрылись, сосед придвинулся. Только моей Ирке, выпившей с тобой пива, ничего не было страшно. Автобус выбросил нас в лесу на мостике. Вспыхнул фарами. Жидкая дорога вверх была полна страха.

«До завтра?» Завтра не было. Ты не приехал завтра. Напрасно мы потеряли ради тебя утренние лучшие часы загара. А я ведь не сомневалась, что ты приедешь. Утром или вечером.

Завтра не было у нашей встречи. Как сказала Ирина – ты вышел из-

под гипноза. Как сказал ты сам потом — я думал, что вы пошутили.

И когда потом в нашу третью встречу тебя увез догнавший нас из Терскола автобус и мы как золото среди песчинок старались отыскать среди миллиона возможных объяснений истинные причины твоего побега, я с помощью Ирки должна была понять, что только гипноз безоглядной сумасшедшестью наших речей и глаз делал тебя заговорщиком нашего же лагеря, тогда как ты из совсем другого.

Ты не приехал и в воскресенье. «Катрин, вы не приехали на Чегет, и я подумал, что вы пошутили».

Ты, конечно, не мог сделать того, что сделали мы: в день отдыха, в четверг, когда весь лагерь загорал, мы отправились к тебе, проверить, каков вкус у этой шутки. К счастью, дней от воскресенья до четверга хватило, чтобы не только завести, но и исчерпать новых поклонников из новой смены горнолыжников. И Ирка опять была готова играть в паре со мною. Ты помнишь, Ирка отлично ассистировала в тот вечер в вашей комнате на руднике, окна которой заляпаны ватой облаков. Канатка из солнечного и ветреного Тырнауза подняла нас в ваш заоблачный мир. Теперь я знаю, что вопреки легенде о сотворении мира, в облаках живут не только ангелы.

Санечка, люди очень редко знают, где надо поставить точку. Поставить ее надо было в ту ночь, на вашей горе.

Не раньше, как говорила это Ира, и не позже, как протянула это я, а именно в ту ночь, на вашей горе, белой завесой облаков отгородившей нас от реальности. Белым облаком укрывал Зевс свои встречи с нимфами. Смертные недостойны этой благодати из-за того, что во всем и всегда они жаждут продолжения.

Ты говорил: «Я думал, что больше не увижу тебя, Кати», ты держал мои руки в своих, ты глядел в мои смеющиеся глаза. Как случилось, что я забыла потом про облако, которое опустилось, чтобы увести нас от реальности?

У тебя нашелся друг — для Иры. Мы сидели вчетвером за раскладным столом, ели кильку с ватрушками и пили не только чай. Потом мы спали с вами рядом на ваших раскладушках. В ту длинную ночь, в которой ты не мог поверить, что она так пройдет.

Честность, воспитанная с детства, заставляет держать перед собой ответ даже за сказки. Ночи и дни до назначенной встречи на Чегете я беседовала с тобой, выходящим ко мне из облака, и сказочные дороги переплелись с реальными — идти по ним я была готова до конца.

Что я могу сказать о нашей третьей встрече — на Чегете?

Дисциплина и тренер не позволили нам уделить внимание тебе. Неужели это было так важно для тебя? Ты был плохо одет? Тебя ждали друзья? Ты беспокоился о том, что нам и без того достанется в лагере за

Иркин самовольный спуск с Чегета? Тебе требовалось проявить свою самостоятельность? Спаситься из цепких лап амазонок? Сработал инстинкт самосохранения или комплекс неполноценности? Или была какая-нибудь совсем незначительная причина, до которой мы не додумались? Ты уехал.

Скорее всего, ты вдруг понял, что мы тебе не нужны. Предчувствие этого пришло нам с Ирккой в голову накануне. Когда едва приволочив ноги с занятий, мы увидели наши обгоревшие, застывшие усталостью лица. Не досрели мы еще до свиданий на Чегете. Пока Чегет был только труд. Так мы сказали тогда друг другу, но дело ведь было и не только в этом.

Да, всех встреч было четыре. Две на подъеме и две на спуске. Черта разделяла лишь вторую и третью, дальше все было закономерно.

Ты добр, ты говоришь минимально необходимые слова, но так, что они звучат правдой – потому что в эту минуту ты сам веришь в них так же, как я в свою сказку, разница лишь в том, что ты легче выключаешься.

Это была четвертая встреча. Ты приехал на другой день, и мы пошли с тобой в Джан-туган, а потом в наш лагерный клуб на танцы.

Мне очень хорошо знакома жадность, которая засветилась в твоих глазах в нашем лагерном клубе. Музыка, разгоряченные прощальным вечером лица, раскачивающиеся в твисте фигурки в брюках. Маша, королева вечера, единственная из всех в платье и туфлях.

Где-то у классиков подходящее сравнение – как кавалерийская лошадь, слышавшая полковую музыку.

Так, как мы танцевали твист, можно сравнить только с моим отчаянным броском со склона. Я думаю, что увидеть как после десяти отчаянных поворотов я начинаю проходить трассу вниз головой, достаточно, чтобы решить держаться от меня подальше.

Твист выдавал и тебя – всю твою неизрасходованную жадность к жизни – блестящей пирушке, на которой не знаешь, за какой кусок лучше хвататься. Я ведь и сама такая, и жалею, что в этот вечер, занятая наблюдениями за тобой, не отдалась просто ритму, музыке и бездумному веселью. Мысль перевести стрелку на рельсах моей сказки еще не приходила мне в голову. Я понимала, что игра почти проиграна, но замороженная режиссерским замыслом не могла потушить восхищенного блеска глаз, устремленных на тебя, и так явно ждущих ответного взгляда, поцелуя или пожатия руки.

А Маша переборщила. Розовое платье и белые туфли выделяли ее на фоне брюк и кед, но в силу неуместности не настолько, как это могло бы показаться возможным. Ровно настолько, чтобы ослепить ее, а не других. И наша певунья, статная девка закрутилась как мотылек на огне – и сгорела. Маша дала промашку, она потеряла своего лучшего кавалера и верного поклонника – третий день! – нашего соседа по столу, Жору.

«А что же ты не отбила его, Ира?»

«Я никого не отбиваю».

«Напрасно, Жора – парень что надо, такими не бросаются» – это уже ты сказал Ире.

Ирка усмехнулась: «Он спросил меня – что ты так странно на меня смотришь? А я сказала – не обращай внимания, это просто близорукость».

«Зачем же ты так?»

«Это моя обычная шуточка».

Нет, я уже была и Машей и Ирой раньше. Теперь я знала правила игры. Я танцевала только с тобой и смотрела на тебя преданными глазами. И когда меня пригласил другой – пацаненок – ты отошел за чем-то на минуту, я после танца попросила отвести меня к тебе.

Что же я хотела сказать? Жалею, что только к последнему твисту, оставив свои наблюдения за тобой и собою, также самозабвенно отдалась танцу. Танец, отчаянная экспрессия, не вялое топтание на месте, всегда существовал для меня сам по себе, это была как бы своя отдельная жизнь, и лучшего партнера, чем ты, мне не встречалось.

Теперь за окном поезда ровное шоссе со скользящими по нему грузовиками. Стараюсь не забыть тех нескольких слов, которыми так приятно тешить себя.

«Ты знаешь, что я все сделаю для тебя?»

«Не знаю».

«Напрасно. Ты знай это... Странно, ты стала мне так близка за эти дни... Так ведь можно и полюбить».

И этих-то слов, этого полунамека на готовность отдаться чувству было достаточно, чтобы сказочные образы фейерверком вспыхнули в моей бедной голове.

Ты читал про Кису у Чехова? Господи, Санька, разве не слышно, как я прошу тебя, возьми меня с собой, Санька, я не буду умничать, заставь меня готовить обед, возьми меня к себе, Санька.

Нет, не слышно.

«Ты только не говори другим того, что говорил мне».

«Разве я говорил что-нибудь плохое?»

«Нет, хорошее. Хорошего не говори».

Глупенькая. Это я вылезала из образа Кисы. Когда как кошка на четырех лапках я выкарабкивалась из одной сказки в другую. Ты же помнишь. Потом сцена опустела и через мгновение заполнилась другими декорациями. Действие продолжалось, и неискушенный зритель не должен был заметить подвоха – пьеса, сделав реверанс в сторону романтической трагедии, опять вернулась к недоговоренной легкости Арбузова.

Я благодарно гладила ладонями твой наждачный подбородок: «Ты чудо.

Ты чудесный. Санька. Будь моя воля, никуда бы не уехала от тебя».

И все же тяжел груз сомнений.

«Вспомнил ли ты меня?»

«Зачем бы я приехал, как ты думаешь?»

Ты мог приехать за сумкой, мог приехать потому, что знал, что должен приехать. Мог приехать просто так. Мне бы хотелось последнего.

«Я совсем не понимаю тебя, Катрин, и поэтому не отвечаю – боюсь, что ты истолкуешь совсем неправильно»

Я знала, ты обиделся. За ту долгую ночь нашей второй встречи. Но я бы была с тобой в любую другую, в которую я бы приехала к тебе снова, может быть, даже за тысячу километров, но только не в эту, ту первую, которая нам выпала без твоего зова.

Почему я никогда не узнавала тебя первой, хотя, как и сейчас, видела твое лицо всегда перед глазами. Или черты твои более стерты в действительности, чем сохранила их моя память?

А может быть, это только сейчас я запомнила точно твой профиль, неизменный на фоне захлестывающих стекло гор. Может быть, раньше твой конкретный облик заслонялся твоей улыбкой? Проверить на этот раз невозможно, ты не предстанешь неожиданно на дороге Минводы – Баку.

До Баку остается два часа, пора мне заканчивать это письмо. Первая встреча. Вторая встреча. Третья встреча. Четвертая встреча.

Пусть снова третья.

Ты уехал на попутном автобусе, не взяв своей сумки. Мы без тебя поднимались к лагерю. Стопудовые ботинки вдавливали грязь, стопудовые лыжи переключивали с плеча на плечо.

«Не делай выводов до завтра, подожди до завтра, ничего не делай, не говори себе», – так убеждала меня моя разумная всепонимающая Ирина. И к тысяче моих оправданий она прибавила миллион своих, почему ты не мог пойти с нами. «Смотри», – говорила Ира, – например, картина. Она тебе нравится или не нравится, и то, что в ней нравится, зависит от того, что ты видела раньше. А ведь человек тоже картина, каждый из вас картина, которую другой еще не видел. Вот вы и не понимаете друг друга».

Мы распланировали весь следующий день и заполнили его до отказа вымышленными делами, и все же, когда неожиданно ты взял нас за плечи и тихонько улыбувшись заглянул в глаза, я поняла, что несмотря на слова Иры что-то во мне изменилось. Это была наша четвертая встреча.

Чуткость Ирки не имела пределов, почти тотчас обнаружилось, что ей следует пойти в Эльбрус за вином к прощальному вечеру, а нам – за крокусами к Джан-Тугану. Боюсь, что ее жертва оказалась напрасной, не было уже того между нами, что было на руднике. Может быть, просто не было облака?

Ты шел быстро. Пусть я покорно бежала за тобой, пусть спрашивала удивленно, как мы не попали сюда раньше к этой дикости, расположенной так близко от нас – с нагромождениями камней, вывороченными деревьями и ослепительной стеной Пика Испании, Бжедука, Джан-Тугана... Знаменитый камень «Не кантовать» со следами шлямбурных крючьев и пустыми банками из-под сгущенки. Хижина в овечьем помете, слишком грязная, чтобы в ней можно было поцеловаться и хотя бы так восстановить общность, которую мы потеряли.

Расставание приближалось неуклонно, а я говорила ничего не значащие слова. Что попросишь, то и будет, ты отвечал в том же тоне.

«Уж не потому ли ты завел меня сюда, чтобы отомстить за мое вчерашнее замечание – стоит ли жалеть свои ноги, которые созданы для ходьбы? Может, ты хочешь показать, что ты умеешь это делать не хуже меня?»

«Да – так часто бывает, что значкист учит мастера. У нас был один такой заслуженный мастер по альпинизму. Когда новенький, не знавший его, объяснял ему что-нибудь про горы, он всегда очень внимательно слушал».

«Меня тоже однажды купили ребята в поезде, когда я ехала в Архыз, чтобы вести группу. Они спрашивали и я им объясняла, что такое горы и зачем надо лезть в них. Они были мастерами, и один из них погиб в том же году на траверсе Ушбы».

Ни один из нас не нашел в себе сил сойти с этого дурацкого тона. Но все же когда мы возвращались к ужину в лагерь, твое самолюбие оправилось от мнимого поражения, хотя осадок, не растворимый в наших речах, остался.

«Вспоминал ли ты меня, Санька?»

«Зачем бы я приехал, если бы не вспоминал?»

«Ты останешься у нас, Санька?»

«Смотри, Катрин, я ведь могу переночевать на турбазе в Эльбрусе, у меня там есть знакомые».

Нет, осадок не растворился.

Синий рассвет, минуты, ненужно подаренные задержкой автобуса. Твой профиль рядом с шофером.

Прощальный взмах руки.

«Счастливо, Кати! Счастливо, Ирина!»

Не подвергай друга испытанию, сказал кто-то из древних. Да, не прошел испытания. Нет, прошел. Слушай, а может все дело в моем анализировании? Все так мгновенно переменяло свою окраску. Может быть, именно во мне все дело?

Никто теперь не скажет мне этого.

Вот я и написала почти все. Не по порядку и не все – но это почти все.

Прощайте, мальчики, отрывающие твист в горах, теперь я знаю, чем хорош этот бешеный танец – он не оставляет места для мыслей. Я обязательно достигну в нем совершенства к будущему году, когда ты обучишься кататься на параллельных лыжах. Партнерша по твисту – это всегда хорошо и это не мешает самолюбию.

Правда, уже в этом году твист как будто вытесняется медисоном. Какие еще танцы появятся в будущем году?

Помнишь, что молодой Джолион Форсайт говорил Ирэн о собственности в любви: «Только бы не стать собственником...»

Разве я был собственником?

Нет, это я о себе.

Прощай, Санька! Твои ласковые слова ворочаются внутри, глядя мягкой и шерстистой лапой. Раз услышав такие слова, хочется слышать их снова и снова. Не говори таких слов, Санька. Или – повторяй их всегда.

Прощай, Санька. Теперь, когда я все написала, на душе пусто и грустно. Я надеюсь, что это пройдет, и вернется прежняя брызжущая радость.

Прощай, жизнь прекрасна не только в сказках».

Семен Лурье

ЗАСТОЛЬНАЯ

*«В России зарегистрирована
национал-державная партия»
(из газет)*

Держава ржавая, как весь российский флот,
Душою ржавая и сердцем заржавела.
Держава ржавая, ты словно ошалела.
В цепях величия безмолвствует народ.

Провозгласим, друзья, сегодня гост за Русь
И помянем погибшую подлодку.
С ней обошлись, как с отвалившейся подметкой,
но называли почему-то гордо «Курск».

Поговорим об исторических врагах:
евреях, турках и несломленных чеченцах.
Поговорим о стариках и о младенцах.
Представив Русь на миг в нацистских сапогах.

Держава ржавая – российская беда.
Прошу, кумира из себя не корчи ныне.
Держава ржавая – российская гордыня,
куда ушла твоя былая красота?

КАЛИ ЛАСКА (Белорусский мотив)

Лепель, Витебск, Беларусь.
Дней ушедших сказка.
Дайте вволю надышусь
прошлым, кали ласка.
Детство. Зимняя игра.
Горки, снег, салазки.
Предвоенная пора.

Вспомни, кали ласка.
Школа. В ней портрет вождя.
Красный флаг и галстук.
До седьмого не дойдя,
с классом расставался.
Не хотелось корни рвать,
порывать с прекрасным.
Но с мольбой смотрела мать:
«Едем, кали ласка».
Сорок первый год. Вокзал.
Бомбы. Перевязки.
Лишь потом я осознал:
чудом, видно, спасся.
Белорусская земля –
чувств моих завязка.
Людям стал там предан я.
С ними – кали ласка.
Мягче прочих всех славян,
только с чехом в связке –
белорус, пусть даже пьян,
скажет: «Кали ласка».
Лепель, Витебск. Белорусь.
В чувствах те же краски.
Я от вас не отрекусь.
Верьте, кали ласка.

СЧАСТЬЕ

Чувство счастья ни с чем не сравнимо:
ни с туманом, ни с цветом сирени,
не похоже на облик любимой
и не может быть светом и тенью.

Отношения с ним непростые,
ненадежно оно и непрочно.
Тот, кто стал с ним знаком лишь впервые,
тот наслышан о нем лишь заочно.

Передать это чувство словами
невозможно, не надо пытаться.

Не упустит его наша память,
если с ним невзначай повстречаться.

Может, время позволит однажды
испытать его собственной жизнью.
Повстречать его сможет не каждый –
путь извилист, а судьбы капризны.

Как под ветром ломаются кроны,
превращаются в прах чьи-то судьбы.
Если с рельсов слетают вагоны –
катастрофы всегда безрассудны.

И увидев просвет в бездорожьях,
лучик солнца засветит в ненастье.
Вдруг почувствуешь снова, как ожил,
наконец-то обрел свое счастье.

ВЫ ЧИТАЛИ СТИХИ... (романс)

Вы читали стихи, провожая меня на вокзале.
Солнце било в глаза и обычная шла суета.
Я подумал потом, что о главном Вы мне не сказали,
и в стихах Ваш упрек не дошел, утонул сквозь года.

Много было с тех пор поражений, утрат, расставаний.
И прощальных стихов, к сожалению, я не сберег.
Пролетел, прошагал сотни, тысячи верст расстояний
в облаках и пешком, и по шпалам железных дорог.

Вы читали стихи, провожая меня на вокзале,
не ужившись с одним, я к другому причалу бежал.
Очевидно, в стихах Вы на это тогда намекали.
Мне напомнил о них лишь единый свидетель – вокзал.

* * *

В чем загадочность русской души?
Нету в ней золотой середины:
то потворствует злу без причины,

то вдруг песнею всхлипнет в тиши,
то правительство станет ругать,
то начнет за идею бороться,
то до смерти забьет «инородца»
под восторженный крик «Твою мать!»

В чем загадочность русской души?
В том, что вовсе не знает покоя.
Что ее наконец успокоит?
Страх и боль у народов чужих.
Помню сон. Словно настороже
затаились над озером ивы,
услыхав мои мысли, пугливо
зашептали о русской душе.

И печально смотрела в глаза
на меня с пониманьем береза.
Сок березовый – это не слезы,
это крупная скорби слеза.
Все о тайнстве русской души
рассказали березы и ивы.
Я поверил легко и наивно
сном в далекой российской глуши.

* * *

Поезд U-Bahn напоминает
не только змею и гусеницу...
Так же быстро набегают
дни свидания с тобой...
Так же коротки они,
как и эти остановки...
Так же окружены мы чужими людьми...
Также ждем свободного местечка,
чтобы чуть-чуть,
незаметно для посторонних,
прислониться друг к другу...
И так же спокойно,
как доехавшие до своей станции,
мы покидаем случайный транспорт,
чтобы наконец-то остаться
вдвоем...

ВРЕМЯ

Часы... Сколько нервов
намотали их глупые стрелки
на свои тонкие туловища!
Сколько сотен раз их острые клювики
клевали мое неторопливо тикающее сердце...
Это вечная борьба Прошлого с Будущим...
Но это война - в ускользающем от меня
Настоящем!
Тик-Так... Тик - Та...

* * *

Трехлетняя девчушка -
юлой и ужом вертится
на диванчике U-Bahn“а...
молодая мамаша журит ее по-французски...
и по-немецки, но поучения - втуне:
их хватает лишь на полминуты...
Глазенки игриво сканируют лица

соседей, особенно мужчин!
Ну и заноза вырастает!!!

НОВЫЕ ИМЕНА... СТАРЫЕ ИМЕНА...

Только успевай вспоминать и...забывать...
А сколько у тебя самого было имен?
А сколько осталось?
А будет ли еще какое - либо новенькое?
И захочешь ли ты его?!

КАК ОДНООБРАЗНЫ СЮЖЕТЫ

моих прозаических песенок!
В первой строчке - ТЫ!
Во второй - О ТЕБЕ!
В третьей - обо мне и о ТЕБЕ!
В четвертой - о ДРУГИХ,
несчастных,
не знающих...ТЕБЯ!

ТЫ - МОЯ ЗУБНАЯ БОЛЬ!!

Почему только зубная?
Я могу вырвать зуб...
Мне его жаль...Очень жаль...
Но придется удалить...
Но не могу удалить тебя,
хотя порою очень хочется...
Не могу найти доктора
для этой операции...
А сам я не в состоянии:
Нет силы...И нет...желания!..

Генриетта Ляховицкая

Стихи для детей

ТОЧКИ НА КОЧКАХ

На болоте кочки,
мягкие и мшистые,
а на кочках точки,
крупные и чистые.

Птица клювом
клю да клю:
– Эту ягоду люблю.
А лягушка
ква да ква:
– Хороша, но розова.

Клю да ква, клю да ква –
приболотная молва:
клю-ква, клю-ква,
клюква!

КРАСКА-ЯГОДА

Затемнели от черники
носы,
зачернели под носами
усы,
засинели губы,
за губами – зубы,
языки, как новые,
новые – лиловые.

Ух, какая сильная
ягода красильная!

ЛЕСНАЯ МОДА

Елочки маленькие,
веточки мягенькие –
юбки в оборочках
на девочках-елочках.

Елки-подростки,
колючи да жестки,
ветки кольцами –
юбки колокольцами.

Ели взрослые,
статные, рослые –
ветви-юбки завели
длиной до земли.

Мода по лесу гуляет,
в разных юбках щеголяет.

МЕЧТА ДРАЧУНА

Вот был бы
на свете особенный лес,
тогда бы я
в самую чащу залез,
где разные
добрые-добрые звери
мне в норы свои
открывали бы двери,
а в норах
играли бы дети-зверята,
одеты пятнисто,
пушисто, мохнато ...

Я в том бы лесу
никого не боялся
и, может быть, даже
ни с кем не подрался.

ЮБИЛЕЙНОЕ

Дни протекают между пальцев,
Седыми прядями увенчаны.
В воспоминаниях, как в танце,
Мелькает вечный образ женщины.

Декабрь огорошил сразу :
Средою возрастных подельников,
Несостоятельностью пауз,
Разборками по понедельникам.

Под стать погодным переменам
Дороги вскользь покрылись инеем, -
Так , значит, подступило время
В тень отходить ночами синими.

Смешались мысли чехардою.
Завороженные наветами
Неукротимую гурьбою
Кружат мелодии пропетые.

Упавший пульс, как волк в загоне,
Перебивает ритмы старые.
Я на прощание спокоен
Без лишних слов и комментариев.

На вираже передохну. И если
Вконец припрут заботы прочие, -
То, затянувшись трубкой, в кресле
Отгрожусь я многоточием.

Смеркается. Оплыли свечи.
Никто под занавес не сетует.
Круг завершен. Уже не вечер,
Но продолжение не следует.

КЛИМА ...

Колыханье занавесок
В шумный августовский полдень
Будит эхо старых фресок
С приговором : не пригоден.

Изумрудной духотою
Трав и веток в зное лета
День застыл – и мы с тобою,
Бросив то, не начав это.

От жары твой дряхлый пудель
Разомлел и спит в прихожей.
Нас, конечно, не убудет.
Но и мы не вечны тоже.

Зной стечет в осенних ливнях
В недалеком обозримом.
Ну а нам пора пассивно
Перекраиваться в зиму.

Среди радостей немногих,
Может, снизойдет удача;
Подведем свои итоги,
Отдохнем и посудачим.

Все разгладится под утро, -
Вот тогда, в ленивой неге,
Поглядим с улыбкой мудрой
На цветущие побеги.

ПИСЬМО ТУДА

Опять апрель
Стучится в дверь,
А я дремлю,
За рюмкой сидя;
И мне не хочется,
Поверь,

Блуждать
По тупикам субсидий.

Хоть в голове
Весенний звон
Заманчиво
Звучит рефреном,
Меня не тянет
В унисон
К дорожным резким
Переменам.

Все недосуг
В толчее дня
Ни написать, ни
Созвониться.
Там
Вам не грустно без меня?..
Как отдыхается,
Что снится?

У нас
Без крайностей.
Все бдим.
По ходу -
Прежние заботы.
По старым улицам
Один
Прогуливаюсь по субботам.

К чему
Устаивать сыр-бор...
Ведь
Дураку понятно даже,
Что самый
Взбалмошный старпер
Не купится
На эту лажу.

Шестой десяток разменял.
Пора

Утихомирить страсти.
Тем более, что
Черный нал
Не расположен к нам
В ненастье.

Теперь,
Наверное, не впрок
Домысливать
За чашкой чая.
Поскриптум, как
Немой упрек...
Отвыкли врозь.
Пока .
Скучаем .

ГРАФИКА (В ЭМИГРАЦИИ)

Черноствольными ветками заткан ноябрьский полдень;
Натюрморт непогода задернула шторой дождя.
Непонятно: кому и когда еще буду пригоден,
Если вдруг повезет иммигрантскую блажь переждать.

В разночасьях любви распадается время на части.
На задворках судьбы вечереет попрежнему в дым.
За кордоном остались привычки и мелкие страсти;
Там (давно и неправда) и я был тогда молодым.

На мольберте лениво смеркается красочный полог.
Из осколков панно, неохота, да и не собрать...
Сторона - не дорога, а путь утомительно долгов;
Лишь осенний мотив все кружит между ночью и бра.

A LA FRANCE

Когда бокал до капли пуст,
Мы в шутку завещать могли бы
Гербарий выцветших улыбок -
Прощальный всплеск палитры чувств.

В преддверии того, как нас
Назавтра сразу все забудут,
Из вереницы прошлых буден
Я память приглашу на вальс.

Пусть говорят: судьба слепа,
Жизнь обесценилась до пенни, -
Но в отголосках настроений
Узорами изящных па,

Как сумасбродством Петипа,
Украшен звездопад мгновений.

ТЕБЕ

Непростительность ошибок
Перечеркивает враз
Неразгаданность улыбок,
Недосказанности фраз.

Нарекания забудем,
Пригласив к себе домой
Пересказы прошлых буден,
Расколдованных тобой.

Только ауру под током
Мельком вдруг не потревожь,
Чтоб осенние упреки
Не прихлынули как дождь.

Ну а если грань улыбки
Мы решимся перейти, -
Обольстительность ошибки
Поджидает впереди.

ПИСЬМЕЦО

Вот и дожили, дружок, до ноября.
Заморочившись судьбою до седин.
Только: к лучшему все это или зря
Не пойму в берлинских сумерках один.

Перекраивать погоду набекрень,
Как и жизнь, совсем не хочется теперь.
Если ночи напролет сменяют день.
То не нужно и смешно захлопнуть дверь.

Ты поверь, что есть пока еще с кем спать;
Просыпаться, правда, вроде невдомек.
Нам, наверно, больше скромности под стать,
Возраст стал лишь как обуза и упрек.

Как помотришь, чтоб махнуть еще домой
Напоследок: посудачим – погостим...
Но хотя наш облик там уже чужой, -
Столько бурь прошло над нами, столько зим...

В ДЕКАБРЕ

Вновь тебя с улыбкой встречу,
Не заботясь ни о чем ;
Бирюзово тают свечи, -
Коротать мы будем вечер
Новогодним серебром.

Приготовлю легкий ужин
И винца, чтоб про запас, -
Нам никто сейчас не нужен;
Пусть снежок за дверью кружит
И вальсирует без нас.

Ты опять в моей постели
Жарко шепчешь в полутьме;
А за окнами метели

Лепят кружева и стрелы
На стекле, как на судьбе.

НА ОТЛЕТЕ
(маразматическое)

Пахло воском
Приятно
В прихожей и комнатах
От горящих свечей
Исходило тепло
Потаенными волнами
Медленно скомкало
Очищалось пространство
Чтоб выкурить зло

Сам не очень вникаю
В такие поверия
Но оставшись один
Поневоле чудю
Из ступившихся красок
Почему-то лишь серые
Чаще чем остальные
Мелькают на дне

В полумраке квартиры
Где за занавесками
Поутру
Вместо кофе
Пью настоящий чай
А набивши оскомину
Мыслями пресными
Так и тянет
Обратно прилечь невзначай

Чувства в ауте
Загроможденные буднями
То ли быт то ли климат
Пора поменять
Коль решуся тогда уже

Вроде не трудно бы
Налегке
На недельку куда-то слинять

Там глядишь
Может кто-то и вправду
Аукнется
Ведь пока еще что-то
И впрямь по плечу
Раз на раз не приходится
Вдруг да получится
А обломится -
Значится не долечу.

ИЛЛЮЗИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОДИНОЧЕСТВА.

Он сидел отвернувшись. Она бесшумно подошла, прильнула к его чуть сутулой спине, положила руки на плечи, слегка коснулась подбородком седеющих волос.

Он не шелохнулся. Будто не заметил. Или не захотел заметить. Он умильно смотрел на другую, распластанную у его ног в блаженной позе полного доверия, и нежно поглаживал ее вздрагивающее тело.

Галина отшатнулась. Уйти? Неслышными шагами спуститься по деревянной лестнице с пятого чердачного этажа и незаметно раствориться в утреннем дожде, исчезнуть, никого не обвиняя. Она и не может ни в чем обвинить Вальтера. Еще несколько месяцев назад, в начале их отношений, Вальтер предупредил ее: «Если мне придется выбирать между женщиной и собакой, я без колебаний выберу собаку. Я приручил ее и за нее в ответе. Женщина, она ведь в состоянии взять себе воды напиться. А собака – нет. Женщина порочна по своей природе, непредсказуема: сегодня – любит меня, а завтра, возможно, уже ненавидит. Мой же Карро никогда меня не предаст, не обманет. Его сердце не знает измены».

– О чем это он? – подумала тогда Галина. – О каком выборе может идти речь? Разве женщина и собака несовместимы?

– Хочешь кофе? – спросила Галина, пытаясь отвлечь внимание Вальтера от собаки.

Он слегка повернул голову, но не ответил и опять устался на собаку.

В раздумье прислонилась Галина к дверному косяку. После бессонной ночи боле-ла голова: «Уйти? Но ее никто не ждет в этом городе. Нет-нет. Невозможно отказаться от надежды. Вальтер. Думала ли она, что здесь, на чужбине, встретит человека, который ей так необходим. Все непредсказуемо в жизни. А разве думала, что добровольно уедет из Москвы в Германию?

Сказал бы ей кто-то об этом несколько лет назад, она бы тому плюнула в лицо. Под Берлином, незадолго до окончания войны, погиб ее дедушка. Она видела его лишь на давней фотографии, где он еще совсем молодой.

Уехала вовсе не от невозможности купить колбасу в магазине, не оттого, что считала и пересчитывала свои учительские копеечки, уехала вслед за единственной дочерью. Она звонила из Берлина, звала, иногда жаловалась на мужа-немца. И надо ж так случиться! Этот Ганс, будучи в Москве два года назад, потерял ориентир на Тверской, пошел не в ту сторону. Спросил дочь, проходившую мимо, как ему попасть в гостиницу. Общались с помощью жестов, на пальцах. Дочь помогла незнакомцу сориентироваться. А в результате бросила Москву, мать, институт и уехала к этому Гансу

в Берлин. Бывает же так. Какой-то Ганс пошел не в ту сторону, и теперь их с дочерью жизнь тоже пошла не в ту сторону. Галина негодовала. Но... делать нечего. Пришлось собирать чемоданы.

Воссоединение семьи состоялось. Но контакта с дочерью не получилось. Ей не понравилась возобновившаяся материнская опека, от которой она уже отвыкла. Не понравилось и то, что мать стала вмешиваться в ее отношения с мужем. (Его Галина сразу же невзлюбила). Начались ссоры, отчуждение.

Дочь не захотела жить с матерью. К тому же в Германии не принято родителям и детям жить вместе. Она сняла Галине на окраине восточного Берлина однокомнатную квартирку. Недорогую, в старом доме с печным отоплением. Обещала оплачивать. Галина из гордости отказалась. Понадеялась в скором времени найти работу.

Незнакомый город, незнакомые люди, чужая речь. Чуть стемнеет – окраина вымирает. Тишина, мало света, гулко разносятся шаги случайных прохожих. Галина оказалась наедине со своей тоской по родной шумной Москве, по друзьям, по школе, где учительствовала много лет. Хотелось вернуться домой, на родину. Но путь назад был отрезан. Стала искать какую-нибудь работу, связанную с ручным трудом. Всюду получала отказ. Обещали взять мыть полы в практике немецкого врача, но потом нашли женщину помоложе. Ей, Галине, уже сорок шесть. Хорошо, что были деньги от продажи московской квартиры, разделенные с дочерью. Было на что жить какое-то время.

Дочь звонила все реже, а потом и вовсе перестала. Обида побуждала Галину тоже молчать. Она никак не могла простить дочери несправедливые жестокие слова, брошенные ей в лицо напоследок. Галине казалось, что она потеряла дочь навсегда. Депрессия, бессонница, слезы. Жить не хотелось. Пугала надвигающаяся старость: ведь некому будет стакан воды подать.

Минуло полгода тягостного одиночества. Наступила весна. Берлин весь в цвету. Во дворе под окном старая яблоня сплошь покрылась бело-розовым цветом. И вдруг в жизни Галины все переменялось. Майским утром в ее квартире раздался телефонный звонок. Это бывало так редко. Только если кто-то ошибался номером. Галина молниеносно схватила трубку. Она истосковалась по звучанию человеческого голоса. Так хотелось с кем-то поговорить, кому-то поплакаться.

– Мария, Мария – услышала она мужской голос.

– Здесь нет Марии, вы ошиблись, – вздохнула Галина. Немецкий язык она когда-то учила в школе. Самое простое могла понять, могла ответить.

– Мария, Мария, – твердил незнакомец. Он пытался что-то объяснить, но говорил быстро, и Галина не сумела разобрать.

Разочарованно повесила трубку. И в этот момент ее осенило. Она бросилась к этажерке и стала рыться в кипе скопившихся старых газет. Каждую среду покупала в киоске «Русский Берлин». «Но вот же... вот эта газета, вот это объявление. Как же она забыла, что русское посредническое бюро знакомств, куда отослала свое фото и номер телефона, называется «Мария». Прошло почти два месяца. Никто не отозвался. Она перестала ждать. И забыла.

Галина еще раз пробежала глазами объявление: «Немецкие мужчины желают познакомиться с женщинами из России. Возраст не имеет значения. Для женщин услуги бесплатны».

Она не могла объяснить даже самой себе, почему откликнулась на это предложение. Должно быть, от пустоты жизни. Жаль. Какой-то Фриц наконец-то попался на удочку, а она сама же его и отшила. Можно было бы познакомиться ради практики разговорной речи. Вот тогда бы высказала она ему, а в его лице и всем немцам, что она о них думает.

Она, конечно же, была знакома с мнением передового человечества: немецкий народ и фашизм – понятия разные. Но в ее представлении не было уверенности в четком их разграничении. Причиной тому, несомненно, яркие впечатления детства. Галина хорошо помнила слезы бабушки и мамы по утратам войны, их проклятья в адрес всех немцев-фашистов. Помнила мальчишеские игры в войну во дворе. И сама носилась вместе с ними. Немец для ребят был самым лютым врагом, которого только можно представить. И этот лютый враг все детство смотрел на нее с киноэкрана. Галина выросла на фильмах сталинских времен.

«Может звонок повторится?» – думала Галина. А через пару дней позвонила в бюро знакомств сама.

– Не беспокойтесь, все поправимо, – вежливо ответила сотрудница бюро.

Это было в ее интересах. За удачное знакомство немецкий мужчина должен был выложить пятьсот евро.

И действительно, все оказалось поправимым. Вскоре он подъехал на машине прямо к ее подъезду.

– Вальтер, – представился он и протянул ей букетик нежных весенних цветов.

Но теперь за окном не та чарующая весна, а дождливая осень. И она стоит у дверного косяка с головной болью и мечется в своих чувствах: «Покориться обстоятельствам?.. Оборвать все одним резким движением?.. И никогда уж они вместе не будут пить кофе, слушать музыку. Вместе – это ведь ни с чем несравнимое счастье. Ей хорошо с Вальтером».

Сколько раз взлетала она вверх по крутой лестнице на чердачный этаж, не чувствуя возраста, будто к ней вернулась молодость. Он распахивал дверь. Улыбка. Поцелуй. Трепетная свеча на столе, бутылка хорошего вина, фантастические тени на стенах. А в опрокинутом чердачном окне небо с россыпью голубых звезд, иной раз любопытно подглядывающая луна, а то густая непроглядная тьма.

Утром, утомленная, но бесконечно счастливая, возвращалась она домой, чтобы вспоминать. Вспоминать каждую подробность и с томлением ждать следующей встречи.

Может быть, это бегство от действительности, от самой себя?.. Может быть, влюбилась она оттого, что у нее отсутствует воля к одиночеству?.. А влюбилась именно в него, потому что не нашла себе человека под стать. Потому что так сложилось, жизнь жила – поблизости случайно оказался он – вот и все? Никакой избирательности?.. Но она не желает об этом думать. Вальтер – тот единственный, на котором закончилось ее

одиночество. И не столь важно, что она плохо понимает его речь, лишь догадывается, о чем он говорит и даже точно не знает, с кем имеет дело. Какое это имеет значение, если вновь появилась жажда жизни. Какое блаженство, обнявшись, чувствовать на своем теле теплые нежные руки любимого, ощущать на лице его уже родное дыхание и восторженно понимать: я не одна!..

Не одна?. Значит вдвоем?. Но оказалось – втроем.

Он явился с собакой.

Этот проклятый Карро!.. Как же он мешает! Как часто нарушает гармонию свидания! Галина сроду не видела таких страхолюдных собак. Ненависть, ревность в его ожесточенном взгляде. Собака вся на страже: лишь только Галина протянет руку, желая прикоснуться к Вальтеру, тут же принимает угрожающую позу, скалит зубы, злобно рычит. Кажется, Карро постоянно ищет подходящий момент, чтобы броситься Галине на грудь и перегрызть ей горло. И только лишь подсознательное собачье чутье того, что должна быть терпимость по отношению к гостю хозяина, что нельзя преступать рубеж дозволенного, сдерживают его агрессию и жажду кровавой расправы.

Одно спасение: Карро уже стар, его постоянно тянет в сон, одолевает дремота. Он не желает сдавать сторожевые позиции. Но тщетно. Наконец наступает долгожданная минута – и Карро засыпает. Можно свободно вздохнуть, расслабиться, крадучись удалиться в спальню.

– Вальтер, – шепчет Галина, охваченная волнением, тянется к нему, смотрит в его глаза затуманенным взглядом.

Боже, что бывает, если Карро вдруг проснется и обнаружит это злодеяние, этот обман! С визгом, воем, рывканьем набрасывается он на запертую дверь, таранит ее, пытаясь выставить. Кажется, вот-вот рухнет и дверь, и стены, и потолок.

Вальтер склоняется с кровати, шарит по полу и, пытаясь отвлечь собаку, как пулеметную очередь, швыряет в дверь всю обувь, нащупанную в темноте.

Сегодня ночью этот ужас повторился. Вальтер, лежа на Галине, не смог дотянуться до пола, схватил с прикроватной тумбочки что подвернулось под руку и с размаху метнул это что-то в сторону двери. Удар!.. Оглушительно грохнуло и со звоном осколков рухнуло на пол. Ошарашенный Карро на мгновение заткнулся, а потом учинил такой скандал: слушать эти вопли было невозможно. От его остервенелого лая наверняка проснутся соседи внизу и чего доброго вызовут полицию. Потеряв терпение, Вальтер оставил Галину. Двумя прыжками к двери, прыжком назад. Собака вихрем ворвалась в отпертую дверь, вскочила на кровать и легла между Галиной и Вальтером. Карро частенько спит в ногах у хозяина и считает место в кровати своим законным.

В тусклых отблесках далеких уличных фонарей, едва проникающих сквозь жалюзи, разъяренно хрипящий черный косматый зверь казался сущим дьяволом. В потемках было видно, как светятся сатанинским огнем его глаза.

Ощувив рядом взбешенную вонючую собаку, Галина мгновенно откатилась на краешек кровати, вдавилась лицом в подушку, вцепилась в нее зубами. «Чудовище,

гадюка, мерзость. Спугнула обаяние любви. Хрупкое волшебство исчезло и сегодня вряд ли уж вернется вновь.»

Вальтер ласково утешает Карро: «Ну что ты, мое сокровище, так волнуешься? Ты же у меня персона номер один». Собака в объятиях хозяина судорожно взвизгивает, будто всхлипывает, и постепенно успокаивается.

Галина забыта. Будто ее и нет. Дожить до такого унижения! Она чувствует себя ничтожеством. Схватив подушку, уходит в другую комнату. Может быть, здесь, на диванчике, удастся хоть немного вздремнуть, прикрывшись коротким пледом.

Но сон не приходит. Уже светает. За окном обозначилось пасмурное дождливое утро. В соседней комнате слышится движение, голос Вальтера. Опять диалог с собакой.

Галина поднимается с чувством разбитости. Вдруг неизмеримо захотелось скандала. Захотелось делать наперекор: крушить, рвать, метать все, что попадется под руку. Потому что ее никто на свете ничуть не любит, потому что под коротким пледом ночью закоптели ноги, потому что не может найти один носок. Подташнивает, накатываются слезы, хочется разрыдаться. Сейчас она пойдет, решительно распахнет дверь спальни и выкрикнет все, что он заслужил. Пусть остается один со своей бешеной собакой! Пропади он пропадом вместе с ней! Да кому он нужен с этим вырожденком!..

Внутренний голос останавливает ее: «Подумай о последствиях. Истерика означает конец. Сама же и останешься одна-одинешенька. Вспомни, какой ультиматум поставила Вальтеру Амалия? И где ж она теперь?. След простыл?».

Об Амалии Галина слышала от Вальтера.

– А это кто такая? – спросила она, указав на хорошенькое женское личико в фотоальбоме, а их там немало.

– Это? – Да это Амалия, русская немка из Казахстана. Мы с ней дружили целых толгода.

– А почему ж вы расстались?

Вальтер на мгновение задумался, вспоминая:

– Она заявила: или я, или собака.

Галина догадывалась: женщины, одна за другой, исчезали из судьбы Вальтера, не выдержав жестокого испытания, обрушившегося теперь и на нее, испытания собакой. Той персоной номер один.

Укротив разрушительный порыв, Галина отправилась к Вальтеру. Дыхание, как после быстрого бега, вырывалось наружу.

– Доброе утро, – приветливо улыбнулась она, пытаясь скрыть волнение. И, немножко помолчав, с дрожью в голосе спросила:

– Ты меня хоть немножко любишь?

– Это зависит от момента, – усмехнулся он. Зевнул и потянулся. На этом разговор закончился.

Галина удалилась в ванную комнату принять душ и навести красоту.

По мутным окнам не переставая хлещет дождь.

Как оторвать его от собаки ?

– Вальтер, кофе остывает. Садись завтракать. Слышишь меня?

– Да, иду-иду, – наконец утвердительно отзывается он, медленно поднимаясь со скрипучего кресла.

Галина на мгновение метнулась в прихожую к настенному зеркалу взглянуть на себя. Приняв душ, накинула на голое тело пеньюар. Вчера днем бесцельно бродила по городским улицам и забрела в Карштадт. В дорогие магазины заходила редко. Не по карману. Денежный запас постепенно таял. Приходилось на всем экономить. Она приделалась на дешевом блошином рынке: купила почти новые добротные вещи, каких у нее никогда раньше не было. И всего-то по два-три евро за каждую.

В Карштадте была распродажа товаров по сниженным ценам. Галине любопытно поглазеть. Ее давняя мечта купить тугие сексуальные джинсы хорошей фирмы. Но пока не нашла работу, к ним можно только лишь присматриваться.

И вдруг она увидела на манекене этот божественный наряд настоящей королевы из воздушной ткани цвета чайной розы с тончайшими кружевами по вороту и на рукавах. Она представила себя в пеньюаре рядом с Вальтером за утренним кофе. Как хочется быть привлекательной, любимой! Почему бы не сделать себе подарок? Стоит пеньюар после уценки не столь уж дорого. Сколько той жизни осталось. Еще два-три года, а там уж совсем старухой стану. Тогда какой уж там пеньюар.

Мысль о том, что через два-три года станет она совсем старухой, посещает ее уже лет десять. Но каждый раз, выходя на новый возрастной виток, обнаруживает, что жизнь открывает перед ней все новые горизонты.

Продавщица, тощая ухоженная немка с выщипанной прической, ослепила ее протезной улыбкой и протянула красочный пакет с покупкой. Видимо, это профессиональная обязанность продавцов – одобрять и улыбаться. Для Галины такое обращение как-то непривычно. Всю жизнь имела она дело с московскими продавцами, большинство из которых злощие, раздражительные, пытающиеся от тебя поскорее отделаться.

И вот она в обновке. В зеркале Галина отражается во весь рост. Пеньюар струится по плечам, бедрам, падает мягкими складками до самого пола. Кажется, золотистая полупрозрачная ткань наполнена воздухом и солнцем, а тело под ней видится загорелым, молодым, упругим. «Как обольстительно!.. Сейчас Вальтер увидит и придет в восторг.»

Чуть потупив взгляд, слегка улыбаясь, подобно утренней Авроре, явилась она к столу. Пятнистый неврастенический румянец от бессонной ночи ей к лицу.

Вальтер уже сидел за столом, уткнувшись в газету. Галина села рядом, расправила пеньюар. Вдруг вздрогнула – рывком отъехала на стуле от стола. Под столом была собака. Лицо Галины исказилось гримасой испуга и отвращения. Но она моментально опомнилась, взяла себя в руки и заулыбалась. Вальтер не должен заподозрить, как она ненавидит Карро.

– Пошел, пошел вон, – Вальтер слегка хлопнул собаку по спине свернутой в

трубочку газетой. В его голосе слышались и снисходительность, и любовь. Собака отлично улавливала эти интонации и не выполняла требования хозяина.

Галина изящно потянулась и взяла с тарелки хлеб, намазанный тонким слоем клубничного джема. Карро смотрел из-под стола прямо ей в рот. От этого пронизательно-го взгляда по телу бежали мурашки. Он гавкнул, требуя подачки. Галина отломил кусочек и, криво улыбаясь, бросила собаке. Карро на лету виртуозно заглотил хлеб и опять выжидательно уставился на Галину. Она замешкалась. Собака напомнила о себе жестким ударом тяжелой лапы по ноге. От неожиданности Галина поперхнулась и швырнула собаке весь хлеб, оставшийся в руке.

– Хватит, хватит – недовольно махнул рукой Вальтер. Он не разрешал кормить собаку. Не от жадности, конечно. Для своего любимца он ничего бы не пожалел. От убеждения: раскармливать старую собаку непозволительно. Как она будет взбираться по крутой лестнице вверх, если ожиреет?.. И Карро был до безобразия изнеможенным и всегда хотел жрать.

Вальтер несколько раз бросал на Галину невидящий взгляд, но тут же переводил его на собаку.

Завтрак закончился. Галина встала из-за стола голодной и обиженной. Возможно, сейчас, когда она стоит в центре кухни и моет посуду, Вальтер заметит, как она сегодня нарядна, как хороша. В надежде перехватить его восхищенный взгляд, обернулась. Он стоял одним коленом на полу и фотографировал развалившегося Карро.

Галина наспех домыла чашки и поспешила в спальню. Через минуту появилась переодетая.

– Мне пора, – сказала она холодно ничего не заподозрившему Вальтеру.

– Подожди немного. Я сейчас выведу Карро на прогулку, а потом подвезу тебя до станции.

– Нет-нет, я не могу ждать.

Вальтер никогда ни на чем не настаивал.

До станции Карлсхорст недалеко. По мокрой мостовой шумят машины – сплошной поток. Трамвайная остановка полна народу. И неважно, что хлещет дождь. Жизнь кипит. Германия просыпается рано. Села в поезд. Под уютный перестук колес в серой влажной пелене неслись за окном назад в Карлсхорст придорожные деревья и стариники, чуть тронутые позолотой осени, мелькали перечеркнутые косыми струйками дождя улочки, дворы, постройки восточного Берлина.

«Глупо становиться в позу, – думала Галина, глядя в окно. – Лучше подумать о том, как добиться расположения Вальтера. Он несчастен и одинок, больше тридцати лет живет по-холостяцки. Собака для него – идол, божество. Это ведь заблуждение, божество от одиночества. Человек, гонимый судьбой, может найти пристанище только в сердце другого человека. Как же он не может понять: этот человек для него она, Галина. Какое счастье было бы стать его женой и не разлучаться никогда. Но Вальтер чтобы она не питала напрасной надежды, как бы невзначай, сказал ей: «Жениться ба

в Германии чревата последствиями. А вдруг развод?.. По нелепым законам разведенные супруги, в случае необходимости, обязаны содержать друг друга до конца жизни. Женишься – потом без штанов останешься».

Чем приворожила его собака?.. Видимо, мужчине для самоутверждения необходимо чувствовать безграничную власть над слабым. Слабость собаки – в ее полной зависимости от хозяина. Вальтер с удовольствием возится с Карро: прогуливает, расчесывает шерсть, стрижет когти, водит к парикмахеру, к врачу, отмечает дни рождения. Нужно стараться быть в глазах Вальтера такой же зависимой, как собака. Пусть опекает и ее. Пусть самоутверждается.

Галина вспоминает недавний разговор с Вальтером:

– Вальтер, а почему ты оставил в молодости жену с маленьким сыном?

– Не терплю диктата, – ответил Вальтер. – Немецкая женщина – это эмансипация, карьера, компьютер и суп из пакета. То ли дело женщина из России. Совсем другой менталитет.

Галина, вспоминая эти слова, расценивает их как похвалу. Нужно побольше баловать Вальтера домашней едой, драить до блеска его квартиру, стирать и гладить.

Вот и ее станция. Теперь пешочком вдоль ряда невысоких домов с остроконечными крышами под красной черепицей. У каждого дома ухоженный палисадник, где, несмотря на глубокую осень, цветут цветы. А по другую сторону улицы – кладбище, скорее похожее на парк. Дождь прекратился. Под ногами на потемневшем мокром асфальте, заблестело скудное солнышко. Уже виден ее дом: последний в ряду. Галина улыбнулась: там, во дворе, у старой яблони, была их первая встреча. Почему-то она ожидала увидеть плюгавенького немца с черными торчащими под носом усиками, с зачесанной набок, как у Гитлера, челкой. А Вальтер оказался совсем другим – высоким, костлявым. Лошадиное лицо с крупным носом изрезано морщинами. Оно, можно сказать, некрасивое, но мужественное. Густые седеющие волосы почти до плеч. Он хорош в движении: ловкий, легкий, спортивный.

Они мчались по зеленому берлинским улицам. Вальтер сидел за рулем, косился на нее и слегка улыбался. Кажется, Галина ему сразу понравилась. В этот день она привалялась. Зная, что у нее красивые ноги, надела недлинную юбку: не мини, конечно, но совсем уж из ума выжила, а такую – до середины колена. Слышала мнение: если мужчине не понравятся ноги женщины, он в ее голове разбираться не станет.

Вальтер привез Галину в русский ресторан «Россия», хотел сделать ей приятное, угостить яствами русской кухни. Галина и в Москве-то к ресторанам не привыкла, а в Берлине и вовсе не была ни разу.

Подали меню. Галина открыла тисненый переплет и ужаснулась:

«Ух, ты! Цены поднебесные! «Сразу же прикинула: на деньги, указанные здесь только за одно блюдо, можно купить в недорогом магазине столько мяса, сколько хватит примерно на десять домашних порций. Грабеж средь бела дня! К чему такое расточительство! И какой-то едва знакомый будет раскошелиться и тратить на нее приличную сумму?.. Нет.» Галина сказала Вальтеру, что совсем не хочет есть. По лицу

Вальтера проскользнуло недоумение. Но он промолчал.

Вспоминая ту ситуацию, Галина осознает, что поставила его в неловкое положение: не мог же он под выжидательным взглядом официанта ничего не заказать. Неприлично было бы встать и уйти. Вальтер что-то заказал. Ел, давился. А Галина блуждала взглядом по стенам.

Он закурил. Началась беседа. Теперь в неловкое положение могла попасть она. Ответить на вопросы из личной биографии не составляло никакого труда. А вот когда начался свободный разговор, стало невыносимо трудно: ведь ее немецкий почти что на нуле. К счастью, Вальтер сам стал что-то рассказывать. Она должна была делать вид, что все понимает и всему сопереживает. Но как она могла, если едва улавливала смысл сказанного? На помощь пришло лукавство. На лице Вальтера, как на экране, отражались все чувства, сопровождающие рассказ. И она, наблюдая за ним, в зависимости от его настроения, то улыбалась, то заразительно смеялась, то делалась серьезной. И постоянно поддакивала. Важно было не пропустить вопрос. Эта оплошность выдала бы ее актерское непонимание. И такое действительно-таки случилось. Пропустила. Сидит, молчит, глупо улыбается. А он выжидательно смотрит на нее. Не дождавись ответа, повторил вопрос. Вот тогда-то Галина опомнилась: покраснела, заморгала. Вальтер, заметив ее замешательство, сам же на этот вопрос и ответил. Кажется, он остался беседой доволен. И Галина с тех пор серьезно засела за учебники немецкого языка.

До порога дома пара минут ходу. Светлые воспоминания внезапно прервались. В памяти всплыла собака. И вдруг ей в голову неожиданно пришла странная мысль. Такую мысль называют озарением. Но это озарение было как бы не изнутри, а свалилось откуда-то сверху. Сама бы она до такого никогда не додумалась. Галина замедлила шаг и даже остановилась.

– Собака, – прошептала она. – Да-да. Собака. Вот путь к сердцу Вальтера. Вальтер и Карро – одно целое. Нельзя одну половину любить, а другую ненавидеть. И трidet же такое в голову!.. Абсурд какой- то!.. – Галина усмехнулась и двинула дальше. – Да разве можно полюбить дьявола? Но подходя к ступенькам дома, опять замедлила шаг.

Вальтер. Возможно, это последняя любовь в ее жизни. И за нее нужно бороться. Нужно попробовать преодолеть себя. Нужно попытаться завоевать доверие собаки.

Галина решительно повернула ключ в замочной скважине.

(окончание в следующем номере)

Роман Панфилов

СТЕПНОЙ ЭКСПРЕСС

„Смерть, ведь она как... никого не щадит...“

Близким людям, постоянно окружавшим его, он ничего не говорил, а сыну, за тысячу километров живущему от него и в мужском отношении очень незаурядно отвечающему порой, открылся – „Я скоро умру...“

Он отреагировал соответственно – кислый комок в горле тянул к щеке отцовый, глаза слезились и, казалось, слезы издавали запах праздничного торта, испеченного к его шестому дню рождения. „Прости меня папа“ – вертелось на языке у тридцатилетнего Генриха, но вслух не успевало вылиться – слишком много пробелов, мыслей невпопад и глухих отмалчиваний вечерами за чаем с приторным сахарком за зубами витали в пропитанном больничными запахами воздухе между отцом и сыном.

Генрих ехал на эту встречу наверное целую вечность. Во всяком случае он ее прожил, но только уж слишком стремительно. Под стук железных колес, в окружении немолодой уже женщины и ее сына, который без усталости играл в войнушку и, уже давно рассчитавшись с вражескими немцами, приступил к бородавотому дяде-соседу. Выглядывая из очередной засады, он озорно вытягивал руку, сложенную в ладони в виде пистолета, и атаковал порою целые гарнизоны, а вот этого дяденьку поразить не мог – он отстреливался, отстреливался взглядами. Иногда смотрел резко и сердито, иногда весело и задиристо, а временами палял очередями, не отводя взгляда от мальчика минутами. „Достойная цель!“, думал тот, впопыхах глотая сваренные вкрутую яйца и чаем пропитанное печенье, отвлеченный от дела вынужденной паузой. „Кушай, разгильдяй“, гладила по голове мама. Генрих молчал.

За окном лихо пробегали станции и переезды, те что с бабушками и дедушками с мешками и ведрами, те что с солдатами с погонами и без таковых, обжитые грязными вокзалами, или же одинокие – без перронов и эскалаторов, на которых больше всего хотелось бы сойти романтической натуре, и умоляли безотказного, доброй души Генриха с собой, в прошлое.

Отец пришел тогда поздно, впрочем как и всегда по пятницам, с автобазы, где он работал уже двенадцать лет. По его раскачивающейся, не шибко устойчивой, но достаточно довольной походке, а с приближением в район ста метров и по запаху растаявшего в самогоне лука, можно было безошибочно определить, что сегодня пятница и в местной автобазе естественно празднуют еженедельный „День водителя“. Каждый из

поселка городского типа А. знал о нем, а женская половина населения его искренне ненавидела и весь день в пятницу заранее настраивала свои нервы, потому как знала – с приходом темноты их мужья изменятся до неузнаваемости, как оборотни и вервольфы в яркое полнолуние. Надо отметить, что пятница была не только водительским праздником, также справлялись „Веселье планерки“ в управлении или „День одинокой души инженера-агронома“. А потому падала по пятницам продуктивность молокопроизводства, а не в меру усердные водители были несказанно подавлены бездельем, не имея возможности хоть как-то убить время. И только из-за этого необъявленного праздника не планировал председатель колхоза конец пятилетки и не приглашал к себе больших партийных гостей в этот злополучный день.

Дверь вскрикнула, зная что ее опять будут бить, на боль причинявших несмазанных навесах и в прихожую вошел Август – дитя грозы и смятения, подаривших ему грубые и сухие черты лица и характера и чувственно-зыбкую, всех мелких мира сего любящую, душу. Самый младший из его сыновей уже давно спал и видел мальчишеские сны. То тихонько посапывая, а то отчаянно убегая от кого-то, он сбросил с себя одеяло и лежал теперь, как кошка Мария, свернувшись в клубочек. Он очень любил Марию, но однажды по рассеянности уронил ее в бочку с керосином, после чего она все-таки отмылась, но уже не была такой, как прежде. Все только фыркала перед собой и спала не клубочком, а растянувшись, как тушка кролика на магазинной полке. Но сам он спал, как хотел, и в общем был немного разбалованным, потому как чувствовал, что является единственным в этом доме, кто бывал согрет отцовским теплом и возбуждал в свою очередь улыбку в глазах Августа.

На кухне же Генрих уплетал вторую тарелку супа, закусывая пухлым свежим огурцом и выбирая мясо пожилителей из отдельной посуды. В углу сидела мать и теребила в руках свой платок. В тщетных попытках скрыть свою гордость и любовь к возмужавшему сыну, дабы не стеснять его, она прятала свой взгляд и только украдкой, задумавшись о чем-то мирном и добром, она с наслаждением заглядывала, как он ест.

Генрих уже доедал, когда в спину ему потянуло сквозняком окончания рабочей недели и живо представил себе картину, родившуюся позади него. Проглотив содержимое уже поднятой ложки, он повернулся и убедился, что воображение подвело его и в этот раз. Ожидаемого он не увидел – Гроза августа была еще больше не похожа на себя. Редкие волосы его распухли электризированным пучком на явно не симметричной голове. Уши как-то неестественно вытянулись и прижались к затылку, а язык выскакивал время от времени, чтобы омочить натянутые губы. На месте ему не стоялось. Но, несмотря на мнимую ветхость этого создания, Август точным и сильным пинком сумел открыть за собой дверь, да так, что в соседней комнате Мария подпрыгнула сантиметра на пятьдесят и разбудила младшего отпрыска Августа, а мать выронила платок и запрогнула. Генрих не шелохнулся, замерев в ожидании.

Иди спать – рывкнул Август Генриху под звон половника, уже отчаянно лупящего ложки высокой кастрюли.

Генрих вопросительно посмотрел на мать. Она кивнула.

– Иди сыночек, иди милый, ведь поздно уже.

В этот момент Август хотел рывкнуть что-то еще, но в проеме показался брат Генриха в белых трусиках размера на два больше положенного и радостно закричал – Папка, ты чо, на мотосикле катался!? А меня почему с собой не берешь? – и почесал голое пузо, которое так ловко умел выпячивать вперед.

Август изменился в лице.

– Ах ты, пузодав малолетний! Ты по что же не в кровати-то, а?

Август умелым движением, словно фокусник, извлек неизвестно откуда карамельку в коричневой обертке и вытянул ее на руке.

– Ну-ка – сказал он и зажмурился, покачиваясь при этом.

Младший прошлепал короткими шажками по холодному полу, схватил карамель, также шустро, словно сын фокусника, развернул сладость и радостно зачавкал, млея от удовольствия.

– Давай, давай, фантик – сказала Гроза, потрепав грубой рукой русский затылок – шуруй в постель.

Фантик расправился, еще раз, скорее по привычке, почесал пузо и поскакал обратно в постель.

В кухне воцарилось молчание. Молчание тяжелое. Не обычное, когда слышишь задувание ветра под дверь, или трение листьев молодой яблони за окном, а глухое молчание, когда ничего не слышишь, а только ожидаешь, не моргая, стараясь не спугнуть грядущее, будь оно безобразным, или милым слуху твоему. Генрих решил не насиловать ни себя ни мать и, зная, что в его присутствии не будет произнесено ни слова, размеренно встал, опираясь обими руками о стол и с грохотом отодвигая толстоногий деревянный стул, и направился во двор.

Теплыми летними ночами он спал там, на зависть своему младшему брату. И, глядя в усеянное миллионами горящих хрусталиков высокое деревенское небо, мечтал о большом городе с его такой шумной и до жути привлекательной жизнью, где нет, казалось, шансов поперхнуться удушной повседневности. Там, в уюте сильных ветвей старого сливового друга, он смастерил себе лежак. Как полагается, из необработанных душистых досок, с двумя матрасами, сетью от комаров и всегда чистым бельем. Там он отдыхал от насыщенного хлопотливой работой дня, вдыхая успокаивающе целебный и ненасытно-вкусный воздух старой подруги-ночи.

В тот момент, когда Генрих, потянувшись, закинул руки за голову и, предавшись дреме, начал подергиваться всем телом, в доме раздался резкий звон бьющейся посуды и разлетающихся алюминиевых орудий употребления пищи. Не сразу сообразив в чем дело, он встал в лежаче и прислушался. Опять тишина. Где-то совсем недалеко, наверное близ хилой речки, что протекала в пятистах метрах от дома, дважды прокричала кукушка. С противоположной стороны, но уже ближе, заскулил соседский пес. И опять все стихло. Генрих нерешительно встал и, немного подумав, направился к дому, как вдруг услышал приглушенное сопение и неразборчивую фразу, произнесенную муж-

ким голосом. Продолжение следовало – омерзительный глухой, но месяцами спустя еще сочно звенящий в ушах шлепок. Такой звук всегда слышишь, когда человек бьет человека, а услышав перевариваешь его всем нутром своим, содрогаясь и кособоچась. Генрих рванулся, зацепился ногой за выбитый из края тропинки булыжник, преодолел метров пять на корячках и дальше уже побежал к дому. Бедная дверь снова взвизгнула, словно пышная барышня, напуганная незнакомцем. Мать была все в том же углу. Она лежала на полу и из сеченной раны на лбу одна за другой рождались алые капельки, набухали до идеальной формы, а набухнув безразлично падали в алую лужицу. Руки ее были бесцельно и бессильно выставлены перед животом – она защищалась, зная, что это все-таки бесполезно. Ноги поджаты, а с ними рядом этот милый и нежный и как будто святой платок с ее головы, подуваемый слабым ветром.

Генрих онемел. Он стоял с открытым ртом, словно проглотил веер.

– Чайку не желаете!? – радостно воскликнула красная физиономия в щели отодвинутой двери купе.

– Вот-вот закипит, ай заваристый! – счастливо произнес проводник, бесконечно растягивая „а“ в слове „заваристый“ и недвусмысленно подмигивая Генриху при этом.

– Мне пожалуйста только чаю, да покрепче. – ответил Генрих спокойно.

Однако заказ этот неописуемо оживил проводника, так как он, полный энтузиазма, принялся вдруг протискиваться в купе, дабы самолично взять под руки многоуважаемого гостя этого „степного экспресса“ и пригласить его к себе на пару рюмок крепкого чая.

– Нет, нет – встрепенулся Генрих – с сахаром. – сказал он отвернувшись к окну.

– Ну вот, опять с сахаром, сгубите вы себя. – почему-то пробубнил проводник, поникнув, и удалился, обиженно шаркая тапочками на босую ногу.

„Опять она“, подумал Генрих. Да, это опять была она – самая яркая, самая глянцева и самая важная карточка в потрепанных фотоальбомах его памяти. Ее не надо было искать, она была всегда, она была везде, в каждом альбоме и на каждой странице.

С первыми лучами солнца Генрих поднялся. Именно поднялся, потому как ночью не сомкнул глаз ни на секунду.

Сначала был местный лекарь. Пьяный вдрызг – тоже с праздника, однако лечить было его призванием и всей его жизнью, иначе не сумел бы он в таком состоянии, да еще после вымоленного стакана „мутянской“, так умело вставить нижнюю челюсть и определить двойной перелом ключицы у Августа. Потом была скорая из районного центра. Приехали, посмотрели, привязали руки к телу – Август пытался ими размахивать и был похож на старую никуда не годную мельницу – и увезли. А потом была мать. Как всегда добрая и красивая, но очень грустная. „Что же ты сделал сынок. Это ведь твой отец...“ – Лишь сказала она и Генрих с чуть намоченными глазами и от волнующей тудью молча ушел.

По пояс облившись ледяной водой и наскоро растеревшись, Генрих починил разбитой ночью стол, смазал машинным маслом петли благодарной мученицы, полил огород и закормил скотину.

Генрих тихонько отворил дверь в спальню матери и пошарил глазами, не сразу увидев ее. Она лежала в нерасстравленной кровати, укрытая своей пушистой шерстяной сиреневой кофтой и нежно улыбалась во сне, отчего ему вдруг стало невыразимо легко и тепло. Он наклонился над ней и тихо поцеловал в щеку, на мгновение задержавшись, чтобы поглубже вдохнуть и постараться сохранить ее запах. Потом он решительно вышел, схватил на ходу худенькую спортивную сумку и пешком пошел на вокзал.

Мать все продолжала улыбаться и теперь уже гладила щеку, глядя на рамку Августа на комод в углу. Она и не подозревала, что только что попрощалась с сыном очень на долго.

Все следующие восемь лет Генриха не было дома. Он не писал писем – не мог и не любил, лишь только очень редко заходил на пункт связи и заказывал междугородку на час. И весь этот час он проговаривал с мамой, которая то без обиды плакала, а то радовалась, внимательно слушая рассказы любимого сына, и неизменно спрашивала его, когда же он наконец приедет, при каждом подозрительном потрескивании в трубке. Генрих отмалчивался. И вот – был вызван телеграммой.

– Я скоро умру. – Промолвил Август с трудом.

– Врачи мне вчера... об этом открыто... сказали... шуты гороховые... – прохрипела Гроза и сжала левую руку в кулак так, что застучали косточки и скрипнули пружины железной больничной кровати. Силы его покидали – это было явным, как и то, что он хотел сказать что-то еще. Генрих не знал, что ему ответить, лишь молчал, не в силах и сглотнуть. Жажда дико душила его.

– ... мой ... сын ... – произнес наконец Август, с отчетливым, насколько это было в его силах, ударением на слово „мой“ и блаженно стих. Ему стало легче, он куда-то пошел. Это было видно по глазам, вдруг начавшим с новым, известным ему одному, интересом, хаотично блуждать. Он знал, что ему больше не надо ничего говорить и не надо выжидательно прислушиваться. Глаза Августа закатились, опустились веки, оставив тоненькую шелку, сквозь нее проглядывала еще белизна его души. И Август погрузился в беспмятство.

Через два дня Август умер, не сказав больше ни слова и не придя в себя.

Генрих огляделся. Он лежал на верхней полке темного купе, положив голову на сжатый кулак. Под ним, тихо посапывая, мирно спали новые соседи – гости „степного экспресса“. По их лицам изредка бегали живые и беспечные, белые лучи переездных прожекторов, вспышками озаряя, казалось, необратимо застывшую картину спящего купе.

„Прости меня, папа“, шепотом произнес Генрих и заплакал. „Прости меня...“, прошептал он снова, но в груди болело, давило и спирало. Были ли то вопросы или два часа в неудобной позе? Ответ на этот вопрос Генрих к сожалению знал.

апрель 2003

ЧЕРНОВИК ЧУВСТВ

Сегодня снова выходной. Как же она ненавидит выходные. Да и будни тоже, вот уже в течение многих лет превратившихся для нее в те же невыносимые выходные. В комнате было необычно светло. Она еще не привыкла к этому. Много лет она сражалась со старым дубом, заслонявшем ее окно от солнца и ее, как она считала, от жизни, требуя от городских властей, чтобы его спилили. Наконец победа была одержана – дуба не стало. Учили ее былые заслуги перед театром.

Не хотелось вставать, шевелиться. Она лежала, думая ни о чем, думая обо всем, иногда проваливаясь в «ничто» и снова возвращаясь в настоящее или прошлое. О будущем старалась не думать – его уже не было. Или почти не было. Она следила за облаками, теперь свободно проплывавшими в ее окне, которые, быстро размываясь и сливаясь с синевой, исчезали за оконной рамой.

Она знала, что все когда-нибудь кончается: любовь, жизнь. Сколько раз играла это на сцене, где могла выплеснуть собственные страдания, исповедаться, облегчить душу. В жизни она оказалась не готовой к этому. Теперь дни и месяцы неслись, сменяя друг друга, как в калейдоскопе. А повседневная скука разрасталась до таких размеров, что вызывала ужас, буквально хватала за горло.

Прошлое не отпускало. Закрыв глаза, представила себе ночное небо и звезды. Где-то она читала, что древние считали небо символом единства. Когда люди смотрят на звезды, в этот миг они вместе, как бы далеки ни были друг от друга. Она искала его во Времени и Пространстве и не находила. Много лет надеялась на перемену, на какой-нибудь намек или знак с его стороны, которые не случились. Давно уже она не строила никаких планов, а питавшие ее интуиция и мечта, что в один прекрасный день заставит его заплатить за все, – не сбылись.

Все эти годы она жила в собственном внутреннем мире, куда никому не было доступа. Разве можно было кому-либо рассказать о том, что бродило внутри нее. Когда-то она не догадывалась, что любить гения – тяжкий труд, а театральным роман с замужеством за гением-режиссером – довольно жестокий роман. Даже в собственной спальне она никогда не могла расслабиться, стараясь блистать не только на сцене, но и дома. Теперь остались только воспоминания, которыми она возрождала былые отношения, но они еще более ожесточали ее. То был сложный сгусток чувств. За долгую жизнь она научилась любить и ненавидеть, боготворить и презирать. Не научилась – прощать.

Обычно женщина чувствует, когда уходит из жизни мужчины не по своей воле. Она не предчувствовала. Сплетая вокруг него паутину своей крайней необходимости, незаметно полагала, что это является ее главным секретом, в то время как это было ее

главной иллюзией. И, когда между ними образовалась страшная пустота и он спросил: «Чего ты хочешь взамен?», она не вымаливала любви, лишь ответив: «Глоток свежего воздуха». Единственно, чего она не смогла – смирить гордыню. Знала бы она тогда, что это равным счетом ничего не значит в жизни.

Тот последний спектакль, который он поставил для нее и где она сыграла почти саму себя, повторил в точности все, что произошло потом на самом деле – он ушел из ее жизни. Вместе с ним постепенно ушел театр и миновал пик ее творчества. Природа капризна и допускает массу совпадений, но чтобы с такой долей вероятности – это уж слишком.

Написать мемуары? Теперь все пишут Нет, она не торгует воспоминаниями. Они останутся с ней. Навсегда. К тому же, более откровенной, чем на сцене, она никогда не была, и душевный стриптиз не для нее. Только в искусстве для нее не существовало никаких табу.

Тут она заметила, что пошел снег. Первый снег. Она встала, взгляд ее упал на зеркало – и она отвернулась. Зеркало не лгало – его впору завесить. «Вот и вся квинтэссенция старости, какое-то растительное существование, – подумала она. – Надоело. Все надоело».

Она подошла к окну, за которым стояла белая пелена. Снег падал, принося красоту, тут же, на глазах, превращавшуюся в воду. Из окна она видела служебный вход в театр, где некогда играла. Кто теперь помнит о ней? Или о нем, великом режиссере? Поколение, которое помнило, почти ушло. И она все больше и больше ощущала себя человеком из абсолютно исчезнувшей эпохи. Она стояла у окна, где только падающий снег мешал обзору, но ей чего-то не хватало. Вдруг горло свело судорогой – дуб. Ее дуб, с которым она воевала. Дуб, с которым почти сроднилась, которого винила во всех бедах. Его не было. Кому впредь она поведаст свои мысли? С кем будет сводить счеты? Как ей не хватает его, всей душой ненавидимого раньше. Столь желанная победа над ним обернулась поражением. Ее поражением. «Зачем?» – прошептала она. От обнаженности вопроса словно задохнулась – перед ней была только сгустившаяся пустота. По ее лицу текли слезы. Сердце не болело, нет. Как будто его не было. Вынули... Она вернулась к постели, легла и отвернулась к стене.

ПРОСТИ

Светало. Белизна утра, медленно вплывавшая в комнату и по-хозяйски располагающаяся повсюду, высветила спящего мужчину. Сон его был неспокоен, похоже, что-то мучило его. Он лежал гольшом с поджатыми ногами на краю разбросанной постели. Его рука тянулась к воображаемой женщине, в волосах которой играли блики солнца. Наконец, когда совсем рассвело, он проснулся и, не открывая глаз, лежал неподвижно. Он все еще чувствовал влекущий запах ее волос, ощущал в своих руках тепло и нежность ее пальцев – плоть, в которой он пытался утонуть.

Вдруг он вздрогнул, открыл глаза и потянулся к пачке сигарет, валявшейся тут же, у кровати. Он повернулся на спину, закурил и встретился взглядом с Еленой, с улыбкой смотревшей на него с портрета.

– Сколько же так будет продолжаться? Ты была здесь, со мной? Ты приходишь каждую ночь. Это сон или реальность?

«Нет... нет», – в еле уловимой улыбке кривились губы на портрете. «Да... да», – опровергали глаза.

– Что ты молчишь? Скажи что-нибудь. Ты боишься солнечного света? Я закрою шторы.

Он снова повернулся к женщине на портрете. Теперь, в наступившем полумраке, ее лицо еле-еле проступало из рамы.

– Ну что же ты? Ответь, я жду. Ты же приходила – я чувствовал твоё присутствие. Всем телом чувствовал. Ты никогда не была такой прежде... Такой свободной, такой чувственной... Ты хочешь сказать, что я схожу с ума? Что это расплата?

Ему показалось, что взгляд ее стал настороженным, осуждающим. В ее глазах была боль.

– Так ты приедешь? Смотри: темно. Или ты способна на это лишь ночью? Я не выдержу больше. Ну, не бойся, иди ко мне. Иди же.

Все с той же грустной улыбкой женщина продолжала смотреть на него, но было в ее взгляде что-то такое, что он ощутил горячую волну, разлившуюся по всему телу и захлестнувшую его. Он бросился на постель, содрогаясь и царапая подушку. Измотавшись, он опять повернулся к портрету:

– Лена, ты пугаешь меня. Если не объяснишь, что происходит, я приведу женщину. И тогда ты не посмеешь... Что? Что ты сказала? – изумился он, уловив прошелестевшее в воздухе никогда. – Никогда? Ты думаешь? Разве наш брак был счастливым? А ведь мы любили когда-то... Только всегда была между нами какая-то недоговоренность, недосказанность. Ты всегда молчала. А потом, так вдруг, совсем ушла... От себя и от всех... Он поднялся с постели и, пересев в кресло, откинулся назад. Его взгляд, как и прежде, был прикован к портрету:

– Ты наказываешь за прошлое? Хочешь обречь меня на безумие? Так ничего и не скажешь? Ну как хочешь... Мне нужно собраться. Но если скажешь – я останусь. Он встал, раздвинул шторы. Свет ворвался в комнату, ослепив женщину на портрете. Ее улыбка была все той же, только взгляд стал другим, сосредоточенным. Он подошел к портрету и провел рукой по ее лицу. Она не уклонилась от ласки, но глаза стали влажными от слез. Так ему показалось:

– Прости, дорогая. Прости. Я не знаю, что тебе сказать...

Стараясь не смотреть ей в глаза, он снял портрет со стены, вышел в прихожую и положил его на антресоль. Затем вошел в ванную и встал под ледяной душой.

ПОКА ТЫ СО МНОЙ

Укутавшись в плед, Маша сидела в кресле. Теперь, находясь дома, она все время проводила в нем. Скрежет трамвая и гул, доносившиеся с улицы, не могли вывести ее из оцепенения. Сколько времени просидела так, уставившись в одну точку, – не помнила. Слез не было, только ощущение огромной тяжести в груди, которая вот-вот раздавит ее. Иногда она засыпала, но кратковременный сон не был успокаивающим, живительным, и уже через несколько минут она просыпалась от ужаса непоправимости случившегося: вместе с Дашей, погибшей месяц назад, как будто умерла часть ее самой. На работе Маша почти ни с кем не разговаривала, только по необходимости, дело свое делала машинально, а коллеги старались не обременять ее излишними вопросами и сочувствием. Приходя домой, она отключала телефон, электричество, отгораживаясь от внешнего мира, садилась в кресло и старалась забыться. Это плохо удавалось ей – она все время возвращалась в памяти к тому страшному дню в поисках тех возможных обстоятельств, которые могли бы предотвратить случившееся. Если бы они все же встретились с Дашей, как собирались накануне? Отчего она не настояла, когда Даша вдруг отменила встречу, согласившись: в другой раз, так в другой? Почему Даша, всегда осторожная, внимательная, была сбита машиной на тихой улице, где машина проезжает раз в час? Случайность... или...? От этих «отчего» и «почему» у нее раскалывалась голова. Тут она опять провалилась в сон, что-то стучало, грохотало внутри нее, и она не сразу поняла, что это стук в дверь. «Господи, кто это? Что вам всем нужно? Ну оставьте же меня, убирайтесь». Она зажала пальцами уши, но стук становился все настойчивей. На одеревеневших, непослушных ногах она вышла в прихожую. Это оказался Вадим. Посмотрев на Машу, вернувшуюся в кресло, спросил:

– Сварить кофе? Я бы тоже выпил.

Через несколько минут он принес чашки с дымящейся жидкостью:

– Я сделал «двойной». Это то, что сейчас нужно нам обоим. Выпей.

– Ты тоже плохо выглядишь, – от долгого молчания собственный голос показался ей чужим.

Он резко встал и, отвернувшись, отошел к окну.

– Хотела бы я знать, зачем Бог придумал то утро? Зачем ему это?

– Не надо, – прижавшись лбом к холодному стеклу, глухо произнес он. – Не надо об этом. – Он вернулся к дивану, сел напротив, пристально всматриваясь в ее лицо, лицо погибшей жены. – Мы должны помочь друг другу, должны вытащить друг друга из этого... Мы можем...

– Можем... Что мы можем? Даши больше нет, – раскачиваясь, словно в трансе, монотонно шептала она. – Ты помнишь, какой был день? Что-то в самой природе было не так... Будто небо не знало на что решиться: пролиться дождем или затопить светом эту землю. Что-то было не так... Не так...

Усилием воли подавив спазм в горле, он повторил:

– Мы должны вытащить друг друга из этого. Попытаться. Ведь ты любишь Женю? Ты... Даша... Одно лицо... Ты можешь стать ею... Хотя бы на время...

Она смотрела на него молча, не моргая, только шевеля губами. Смотрела как-то сквозь него, и он не мог понять, дошел ли до нее смысл сказанного.

– На время? Как это? – спросила она. – Ты предлагаешь...? Верно, шутишь? – Она осеклась, наткнувшись на его твердый взгляд.

– Я не шучу, Машенька. Какие шутки? Женя у моей мамы. Ждет Дашу из командировки. Ты добрая, щедрая. Ты ведь не позволишь ему страдать, я знаю.

Голос Маши сорвался в крик:

– Ты... ты... знаешь? А как же моя жизнь? Ты полагаешь, сейчас репетиция? А настоящая начнется потом? Когда-нибудь? Но ведь это она, она идет за окнами. Сейчас идет. Ты сошел с ума? Да хоть понимаешь, чего хочешь от меня? Я бы все отдала, чтобы вернуть Дашу. Но это, это же – безумие. Уйди. Пожалуйста, уйди.

– Маша, выслушай спокойно, прошу тебя.

– Спокойно? Я не могу быть спокойной, как ты. Почему, почему это случилось с Дашей? Почему именно с ней? Уходи. Оставь меня, я хочу быть одна. Одна, понимаешь? Мне никто не нужен. Никто.

– Хорошо, я уйду, только знаешь, самое страшное сейчас – одиночество. Мне тоже очень плохо, Маша. Возможно, хуже, чем тебе. Не обо мне речь – я не знаю, как объяснить Женке... Я боюсь... Надеюсь, что мы вместе... Хорошо, хорошо... уйду. Только не отключай телефон. Я волновался, что ты не отвечала.

Едва за ним захлопнулась дверь, она подбежала и набросила на нее цепочку. Вернувшись в комнату, подошла к окну и увидела Вадима. Она смотрела ему вслед, пока он не исчез из виду. Что он там говорил об одиночестве? Разве лучше иметь, затем терять? Что он придумал? Абсурд... абсурд... Как ей унять эту боль? Отключить мозги? Хотя бы несколько минут не думать... Она бесцельно ходила по квартире, прошла на кухню. Надо что-то съесть, она ничего не ела сегодня. Только утром – чай и кофе, приготовленный Вадимом. Ощувив голод, открыла холодильник. Он был пуст. Порывшись в буфете, нашла старое сливовое повидло. Сойдет. Опустошив банку, она вернулась в комнату, поставила кассету с буддийской музыкой, легла на пол, расслабив все мышцы. Щебетание птиц и шум прибора, звон буддийских колокольчиков уносили прочь из этого мерзкого настоящего. В воображении возникали образы даже из мыслей, даже из дыхания. В них была неуловимая аура, но они были естественны, лишены фальши. Вот они с Дашей еще совсем маленькие, смешные. Вот – школьницы. А вот мама, за что-то отчитывающая их обеих. Как это было давно. В другой жизни. Незаметно она уснула. Во сне ее мучил кошмар, в котором сестра снова и снова попадала под машину. Еще ей снился какой-то дом, где она искала Дашу, не находила, только слышала ее голос, зовущий сына: «Чингисхан... Чингисхан...» Потом река, лодка, уплывающая все дальше и дальше, а в ней улыбающаяся Даша, машущая им с Вадимом, оставшимся на берегу.

Проснувшись она вдруг, словно от электрического разряда, стараясь удержать нечто ускользнувшее во сне. Что там было? Что-то очень важное. Что? Вспомнила – Чингисхан.

В Вадиме, по линии матери, текла татарская кровь, передавшаяся и Жене, которого она, Маша, называла: «мой любимый Чингисхан», за что Даша сердилась на нее. Почему сейчас, во сне, Даша сама звала его так? Неужели она хочет того же, что и Вадим? Чего же они все хотят от нее?

Внезапно она почувствовала, что не может больше находиться одна в четырех стенах. Быстро приняв душ, оделась и вышла на улицу. С жадностью вдохнула осенний холодный воздух. Промелькнула мысль: «еще заболēju после душа». Вот и хорошо. Так ей и надо. Она долго блуждала по городу, ставшим почти враждебным за последний месяц. Она как будто заново знакомилась с ним, продираясь сквозь толщу пустоты. Она просила у него прощенья. Оказавшись на Владимирской горке, бродила по опустевшим аллеям, собирая опавшие листья. Потом долго сидела у памятника Святому Владимиру. Было уже почти темно, на горке зажгли фонари. А внизу шумел Днепр, питаемый окружающей его красотой, отравленный людьми. Он нес свои восхитительно – губительные потоки с величием и ревом разъяренного зверя. И у Днепра она тоже просила прощенья за себя, за других. Звуки города, доносившиеся сюда, вторгались в нее, омывали изнутри и очищали. Она впитывала в себя запах жухлых листьев, прижимаясь к ним губами, и по лицу ее текли беззвучные слезы. Уже совсем стемнело и, продрогнув, она возвратилась домой. Не зажигая свет, разделась и легла в постель. Впервые за последний месяц.

Она, конечно же, простудилась – ночью у нее поднялась температура. А может, и не простудилась, а таким образом тело отпускало накопившуюся в нем боль. Она металась в жару, пытаясь найти самое себя. Прошлое вставало перед ней, сливаясь в одну большую волну, надвигалось на нее и откатывало обратно. Постепенно что-то стало в ней вспыхивать, сходиться. Сознание выстраивало спасительные барьеры, за которыми можно было укрыться. К утру жар спал и, опустошенная, она встала с постели. Решение пришло вдруг, спонтанно. «Господи! Что я делаю? Не ведаю, что творю». Но рука уже потянулась к телефонной трубке и набирала номер Вадима.

* * *

Порой молчание сильнее слов –
в нем чувства все обнажены.
Как сбросить с сердца этот груз оков?
Уняв тоску, зарыться в сны?

Вообразить судьбу свою иной,
забыв чреду похожих дней?
Как справиться мне с этой пустотой,
никчемной суетности всей?

* * *

Как ни был сладок плен из лжи —
я не пленялась.
В глухом лесу твоей души —
навек осталась.

Захочешь закричать — смолчи.
Когда-то... где-то,
пытаясь отыскать в ночи —
полоску света.

* * *

Это грустное «вчера».
Это призрачное «завтра».
Старая, как мир игра.
Вымысел. Возможно, правда.

Все известно от «Начала».
Все рассказано давно.
Так зачем ничтожно мало
нам познать с тобой дано?

* * *

Слепое покрывало рук —
но все мне мало.
Отыщется ль страница вдруг —
миг запоздалый?

Мерцающим словам в ответ —
немое слово.
Раздумий прошлых больше нет —
и нет былого.

* * *

Все сбывается. Не забывается.
Будто проходит. Но остается.

Из глубины опять возвращается.
Снова душа с собою схлестнется.

Снова, как прежде, мается, мечется.
То на мгновение утихнет она.
Нет, никогда душа не излечится.
Видно, такой уж она создана.

ДВУЛИКИЙ ЯНУС

Во мне как будто уживаются два «я».
Соседствуют, друг друга дополняя.
Какое же милее мне – не знаю.
Но ни с одним не в силах разлучиться я.

Одно – интеллигентно и приятно.
Другое – безобразно и отвратно.

Одно – и вкрадчиво, велеречиво.
Другое – очень шумно и игриво.

Одно – смиренно, подставит щеку вам.
Другое – отправит вас ко всем чертям.

Одно – устало с жизнью бороться.
Другое – за нее на бой рванется.

Одно – к добру, к религии восходит.
Другое – злым безбожием исходит.

И эти все оттенки сокровенные свои
Пытаюсь скрыть – но не могу – я от людской молвы.

* * *

Стихи ушли не попрощавшись.
Я не гнала их прочь.
Седая Муза не дождалась,
Стремглав умчалась в ночь.

И мне сказала на прощанье:
«Угомонись. Постой.
Быть может, со вторым дыханьем
услышишь голос мой».

Ми́на Шоля́нская

ПРОВИНИВШИЙС АПОСТОЛ

Усадебная готическая повесть

Да и легенда о Великом Достоевском... то есть, простите, невольно оговорился, описался, но вычеркивать не буду, о Великом Инквизиторе испанском...

Ф. Горенштейн, Верево́чная книга

I. ВОЙНА И МИР

Я родилась в 1977 году в семье, которая принадлежала старинному роду Барклай-ев, сыгравших видную роль в истории. Мой прапрадед граф Александр Барклай, герой в войне с Наполеоном, особенно отличился в последней битве с французами. Вернувшись в Лондон после военных походов, генерал поселился со своей семьей в изысканном розового гранита особняке на Паркстрит, где жил открытым домом и задавал роскошные балы.

Кузен этого прапрадеда Михаил Барклай-де Толли в 1812 году возглавлял русскую армию во время наполеоновского похода на восток, однако в самый решительный момент император Александр I выказал недоверие этому благороднейшему человеку и прославленному генералу и отстранил его от командования, назначив фельдмаршалом Михаила Голенищева-Кутузова. Факты эти, к сожалению, тенденциозно освещены в исторических документах. Мне же в изысканиях помогло вначале чтение художественного произведения – романа «Война и мир» русского писателя Толстого, которого, как я узнала впоследствии, ветераны войны после выхода романа осыпали оскорбительными письмами, обвиняя в преднамеренной лжи. Среди возмущенных ветеранов оказался гусарский полковник, командир партизанского отряда, владелец села Бородино, еще и знаменитый поэт с неизменной трубкой в зубах и закрученными усами.

Мне было двенадцать лет, когда я обнаружила в домашней библиотеке большую, в коленкоровом переплете книгу. Помню, как тогда поразил меня портрет автора на

титულном листе. Лицо графа Льва Толстого с огромной бородой – графский титул указывался – было скуластым и широконосым и не соответствовало моим представлениям о знатности рода; скорее, оно казалось простоватым, мужицким даже. К тому же, он был облачен в просторную, ниспадавшую складками крестьянскую рубаху. Впоследствии мне стало известно, что рубаха автора «Войны и мира» была *нарочито* стилизована под народные мотивы, хотя сшита она была у хорошего портного из дорогой ткани. Вероятно, писатель полагал этим одеянием подчеркнуть свою солидарность с бесправным народом.

Что же касается длинной бороды, то она также оказалась мужицкой – граф был первым представителем знатного сословия (после петровской эпохи), носившим ее. Толстой, таким образом, зародил в России «моду» на бороды – русские писатели и либеральствующие общественные деятели стали ему подражать и отращивали бороды всевозможной формы. Крестьянская рубаха также оказалась в моде у либералов и стала называться «толстовкой».

Глаза Толстого смотрели на меня решительно и как будто бы к чему-то призывали. Облик писателя-помещика с повелевающими глазами настолько поразил меня, что я, несмотря на устрашающие размеры романа, все же углубилась в чтение, разумеется, выпуская многочисленные рассуждения и философские отступления.

Внезапно я обнаружила среди действующих лиц своего предка князя Михаила Барклая (шотландские Барклаи носили графский титул), обвиненного чуть ли не в измене.

Герой романа князь Андрей говорит Пьеру Безухову о Барклае: «Он велел отступать, и все усилия и потери пропали даром. *Он не думал об измене*, он старался все сделать как можно лучше, он *все обдумал*, но от этого он и не годится. Он не годится теперь именно потому, что он *все обдумывает* очень основательно и аккуратно, как и следует всякому немцу. Ну, как бы тебе сказать... Ну, у отца твоего немец-лакей, и он прекрасный лакей и удовлетворит всем его нуждам лучше тебя, и пускай служит; но ежели отец при смерти болен, ты *прогонишь лакея* и своими непривычными, недовыми руками станешь ходить за отцом, и лучше успокоишь его, чем искусный, но *чужой* человек. Так и сделали с Барклаем. Пока Россия была здорова, ей мог служить чужой, и был прекрасный министр, но как только она в опасности, нужен свой, родной человек».

Мне князевы речи были непонятны. Этот князь, человек высокого духа, разговаривал на уровне обывательского предрассудка. «Немец-лакей» – что это все значит? Во-первых, Барклай не немец, а шотландец, и во-вторых, почему полководец сравнивается с лакеем и почему, как только отец заболел, лакея непременно надо выгонять без всякой душевной благодарности за прежние услуги? Не иначе как речь идет о патристизме, конкретно о русском патристизме, вернее, о патристизме, на который только рожденно русский человек имел право. Причем, как выяснилось из романа, князь Бутузов, возглавивший армию вместо Барклая по воле царя и народа, занимал ту же отступательную и выжидательную военную тактику, что и отстраненный князь Барк-

лай. Толстой как будто бы оправдывал Кутузова, оставившего Москву французам, рассказывая о «дубине народной войны», о «русском духе», который умел постичь именно этот, русский фельдмаршал, но ни в коем случае не иностранец Барклай.

Так или иначе, книга сыграла для меня роковую роль. Если бы она осталась лежать на полке, где уже пылилась целое столетие, я впоследствии не стала бы участницей событий, изложенных ниже. Чтение русского романа тихими лондонскими вечерами, когда замолкал шум, и сердце большого города билось все глуше и глуше, возбуждало интерес к далекой стране, где морозы, как полагал один известный французский писатель, очевидец событий, губили наполеоновскую армию, не имевшую теплой одежды и надлежащей обуви, огромные пространства поглощали ее, простой народ, несмотря на издевательства над ним господ, отличался невиданным патриотизмом, а графы-писатели с длинными спутанными бородами разгуливали в крестьянских рубахах.

Русскую филологию я изучала в Оксфорде, где у меня, к тому же, обнаружилась склонность к сочинительству. В течение нескольких месяцев, подражая Анне Радклифф и Мери Шелли, я написала «страшный» готический роман о привидениях, нашедший положительный отклик в литературных кругах. Критика отметила «неоромантизм», «неоготику», а также неудержимую захватывающую фантазию романа, в котором юная героиня по имени Элизабет влюбилась в привидение, разумеется, не подозревая, что предмет ее любви бесплотен. Критика обратила также внимание на молодость автора, впрочем, не преминув вспомнить, что и Мери Шелли было всего девятнадцать лет, когда она однажды ночью, во сне, с необычайной ясностью увидела «бледного адепта тайных наук» и созданное им отвратительное человекоподобное существо.

Сразу же после окончания университета, в мае 2001 года я получила приглашение преподавать русскую литературу в Кембридже.

II. РЕКА ВРЕМЕН

В конце лета я отправилась в Кембридж, внешне напоминающий Оксфорд, в котором я провела студенческие годы. Меня всегда удивляло, что такие маленькие «поселения», каковыми на самом деле являлись Оксфорд и Кембридж, могут вместить такое множество церковных шпилей и башен с золочеными циферблатами. Казалось, время именно здесь со скрежетом заводит свой часовой механизм вечности. Я вспомнила стихи Борхеса, посвященные Кембриджу. Кембридж у Борхеса – вне времени, и память не может заменить образовавшейся вневременной пустоты: «Ведь мы не в реке времен, а в царстве воспоминаний, словно во сне – ничего за высокой дверью, даже пустот... Мы – только память, миражный музей отголосков, груда битых стекол». Почему-то вспомнились предсмертные, написанные на грифельной доске стихи Державина, никогда не бывавшего в Кембридже:

Река времен в своем стремлении
Уносит все дела людей,
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

За два дня до смерти Державин написал на грифельной доске эти восемь строк. Однако же и в молодости поэта преследовала мысль о бренности земного бытия и тот же метафорический образ: «Как в море льются быстрые воды, Так в вечность льются дни и годы».

Странным образом и стихи Борхеса, утверждающие, что мы находимся вне реки времен и поэтому остается пустота, груда стекол, и стихи русского поэта XVIII века о том, что ничто не пощажено временем, даже искусство – все «вечности жерлом пожрется» – были созвучны Кембриджу. Борхес находился в Кембридже в феврале 1969 года. Он сидел на скамье у реки Чарлз, и по ней плыли льдины. «Река, – писал он, – навеяла мысль о времени. Тысячелетний образ, созданный Гераклитом». Борхес (как и Державин), принимает древнюю метафору Времени – река, вливающаяся в океан Вечности. Время – река, Вечность – бездна.

Что же касается меня, то я города, да еще с точки зрения «временной метафоры», не могла воспринимать. Я даже не замечала его отличий от Оксфорда, но надеялась, что его индивидуальные черты, его образ и гений раскроется когда-нибудь и мне. Отраднo было видеть студентов в полосатых галстуках – они воспринимались как неотъемлемая часть городского пейзажа.

Я поселилась в меблированной квартирке, состоящей из двух небольших комнат, у реки, плескавшей у самых окон дома. Наступала осень, однако настроение у меня было весеннее, я была переполнена чувством новизны, так много хотелось еще прочитать книг, так много впитать животворных сил из напоенного свежестью воздуха, и хотелось любви, непонятной, какой-то абстрактной любви, так как, несмотря на написанный мною роман о любви, я сама в свои двадцать пять лет еще никого не любила. *Так мне тогда казалось.* Из-за близости реки легкий ветерок гулял по комнате, и занавески на высоких окнах трепетали. Заходящее солнце коснулось красного ковра на стене спальни, затем его слабое сияние померкло. Я подошла к окну и впервые взглянула в него. На противоположном берегу реки стояли неподалеку друг от друга три плачущие ивы, за ними едва виднелись силуэты зданий с серыми неосвещенными окнами. Слева неподалеку на горбатом мостике, перекинутом через реку, стоял молодой человек в черном плаще и шляпе, опершись на перила. Он напоминал мне своим обликом Байрона, когда-то питомца Кембриджа. Господин, похожий на Байрона, рассматривал речной поток с таким вниманием, как будто увидел там свою отраженную

душу со всеми ее ранами.

Верно, опять его обуял душевный мрак, и вот – он в который раз собирается в добровольное изгнание. Он оставит позади Англию, теперь уже навсегда, поскольку это неотвратно, и любовные свои трагедии, и домашние свои неурядицы и отправится в Швейцарию и остановится на вилле Диодатти на живописном холме у Женевского озера. И рядом поселится поэт Перси Биши Шелли со своей девятнадцатилетней женой Мэри Годвин, которую он романтически похитил из родительского дома. И все они, сидя у камина, по предложению Байрона станут рассказывать страшные истории, вероятно, из-за ненастной дождливой погоды. Байрон сочинит «Вампира».¹ В тот памятный вечер Мэри Годвин, дочь знаменитого писателя Вильяма Годвина, автора страшного «готического романа» «Сент-Леон», напишет «Франкенштейна»... А кроме того, они по вечерам читали у камина «Фантасмагориану или рассказы о привидениях, призраках и проч.» Спустя пятнадцать лет после этих чтений Мэри Шелли помнила жуткие истории о тени обманутой возлюбленной, явившейся неверному жениху в самый день его свадьбы, и о проклятом родоначальнике семьи, убивающего младших отпрысков обреченного рода.

Я вдруг очнулась от литературных видений. Молодого человека на мостике уже не было. На мгновение промелькнула в моем сознании (внутреннем зрении?) еще одна человеческая фигура – с тяжелым свинцовым взглядом. Однако мост, нависавший над рекой, словно нарисованный дугой черным жирным карандашом, был пуст. Чей-то взгляд оставил в моей душе неизгладимый след. Если бы я знала, что промелькнувшая фигура *на самом деле* наблюдала за мной на мосту «нечеловеческим» взглядом, если бы я могла тогда знать, что и видение «Байрона» было не случайным, а в некотором смысле – предостережением для меня!

Я услышала бой башенных часов, вернувший меня к действительности.

Затем бой других часов серебристым звоном последовал ему как бы вдогонку, за ним послышался бой третьих, четвертых и так далее. И наконец, вот уже по всему городу били башенные часы, и некоторое время странный звон стоял над городом, и его звук повис над рекой. Внезапное чувство одиночества в чужом городе охватило меня, я закрыла окно и стояла некоторое время возле него в неподвижности.

«Однако пора спать. Мэри Барклай, – проговорила я, – завтра – «Братья Карамазовы»».

III. СТРАСТИ ПО КАРАМАЗОВЫМ.

Университетская программа предусматривала углубленное изучение общепризнанного классика Федора Достоевского, влияние которого на литературный процесс двадцатого века не угасало. Этот религиозный бунтарь как будто бы не давал «успокоиться» мастерам и профессионалам последующих поколений. Достоевский любил говорить о влиянии на него Виктора Гюго, Жорж Санд, Диккенса, имея в виду, вероятно,

традицию романа, основанную на социальных эмоциях и сострадании. Однако уже в «Братьях Карамазовых» злые эмоции, разрушительные инстинкты побеждали, чего не было у вышеназванных литературных предшественников. У Достоевского побеждало само зло как таковое. Кроме того, была какая-то «сверхэкзотика» в том, что в провинциальном русском городке с названием Скотопригоньевск, в каждом доме проживал либо философ, либо теолог, либо разбойник, а то они и вовсе собирались все вместе под одной крышей, чтобы «предвечные вопросы решить». Возможно потому, что я сама недавно сотворила «роман ужасов», меня интересовало убийство, происшедшее внутри семьи Карамазовых из имущественных интересов – тема традиционная для английского романа. За непроницаемыми стенами английских замков случались убийства, никогда никем не разгаданные, и тени отцов гамлетов толпами бродили по страницам этих произведений. Общеизвестно, что семейные отношения в английских семьях отравляла знаменитая система майората – наследование, при котором имущество и титул лорда – нераздельно – переходит к старшему из наследников мужского пола. Здесь же, у Достоевского речь шла о наследственных правах и деньгах, которые делились между наследниками. А собственно, зачем я настойчиво сравниваю семейную драму Карамазовых именно с английскими семейными страстями с их длинной хроникой ненависти и страшными концами? В «черных романах» европейских романтиков – разложение семьи, синдром «семейства Ченчи» – излюбленная тема. Для романтиков распад семейных уз всегда был следствием бездуховности, болезни общества.

Прошло почти полгода моего преподавания в прославленном Кембридже. Однажды на семинаре во время дискуссии, когда мы пришли к мысли, что зло поселилось в семьях, как когда-то в доме Каина и Авеля, и в этом зле кроется причина преступлений среди единокровных, «и враги человеку домашние его», мне в аудиторию занесли письмо. «Каким образом злополучное письмо настигло меня на рабочем месте?» – мелькнуло в моем сознании. Но «литературные мечтания», страсти по Достоевскому рассеивали внимание, не давали сосредоточиться. Я вскрыла синий конверт, развернула тетрадный лист бумаги и прочитала:

Уважаемая леди Барклай!

Пишет Вам дальний Ваш родственник Фрэнсис Барклай. Мне давно хотелось с Вами познакомиться, но все как-то не доводилось. Почти 6 лет я обучался медицине в Эдинбурге и в настоящее время до поступления на службу нахожусь в своем имении неподалеку от Вас в NN, где разгребаю старые письма предков, достойные исторического труда или же захватывающего романа. Обнаруживаю эти свидетельства былого величия рода повсюду – на чердаке, в старых сундуках и комодах.

Нахожусь под впечатлением Вашего романа о привидениях: Вы проявили глубокое знание предмета. Наслышан также о ваших захватывающих занятиях творчеством русских классиков и в особенности Федора Достоевского, великого выдумщика по части криминальных чувствительных историй с религиозной моралью. Смеею сообщить Вам, что в моем замке Вы найдете много интересного для Вашего дальнейшего

творчества. Приглашаю Вас посетить замок в ближайшие выходные дни.

С нижайшим поклоном Фрэнсис Барклай.

Стало быть, родственник объявился. Не иначе наш майорат – предмет особой национальной гордости – опять в действии. Прибыл на корабле откуда-нибудь из Новой Гвинеи, где предков папуасы *не съели*, чтобы заявить о своих родственнических наследных правах. Разумеется, все бумаги, свидетельствующие о законных правах, сохранившиеся 200 лет в надежнейшем из вигвамов от дождя и солнца, находятся при нем.

На самом деле владельцами замка NN были достаточно уже пожилые люди, которых не было детей, и в случае их смерти, если мне не изменяет память, наследником становился мой кузен Уильям, живущий сейчас в Лондоне. Стало быть, письмо: это мне написал то ли родственник, то ли некто, подвизающийся в мире родства. Впрочем, я могла ведь ошибаться, поскольку мои генеалогические изыскания были дилетантскими, и о нашем родстве по отцовской линии мне напоминала разве что фамилия «Барклай». Мне никогда не приходилось бывать в имении этой «ветви» Барклаев, издавна прославившемся еще и своим изысканным садово-парковым ансамблем. Приглашение было заманчивым, показалось интересным навестить нового родственника, который обещает много любопытного моему писательскому воображению. Супруги Барклан, говорила я себе, просвещенные образованные господа, любители искусства, живущие последние несколько лет весьма уединенно. Однако как же это я могла забыть, что у них есть сын, да еще, судя по содержанию письма, мой ровесник?

К концу недели я решила все же поехать в NN и заблаговременно послала туда телеграмму. Перед тем, как отправиться в путешествие, я позвонила в Лондон – это была единственная попытка пробудиться от литературного сна – своему кузену Уильяму, с которым была дружна, чтобы рассеять свои первоначальные сомнения о наследнике в NN, но его не оказалось дома. Вот таким образом неотвратимо складывалась моя судьба.

Надев джинсы и куртку, я отправилась на вокзал с небольшим чемоданом, в котором были сложены туалетные принадлежности и кое-что из одежды. Видит Бог, предчувствуя романтическое приключение, я не «выбрасывала» себя из бытового, материального мира и ничего не забыла. Поезд местного сообщения отходил из Кембриджа в 3 часа пополудни и прибывал в NN около 5 часов вечера. Был конец февраля, зима в наступившем новом году была по-осеннему теплая, бесснежная, слабое солнце пригревало, когда поезд остановился на безликой одинокой станции.

«Как странно увидеть такую глушь недалеко от Кембриджа, – подумала я. Здесь, кажется, царит вечный покой».

Я вышла на платформу, на которой не оказалось ни одного человека, огляделась, и, обнаружив, что на двери маленького, почти игрушечного, явно необитаемого краснокирпичного «вокзальчика» висит огромный черный замок, прошла на круглую привокзальную площадь со старыми вязами и увидела господина, по-видимому, встречавшего именно меня, поскольку на этом глухом полустанке не было никого, кроме него и меня.

Он был высокого роста, худощав; его бледное лицо с огромными зелеными с влажным блеском глазами внушало тревогу. «Астральный юноша», – подумала я, – готовый персонаж для готического романа, настоящее подражание моим художественным вымыслам». К тому же, он был одет в красно-черное – на нем было длинное черное пальто, а на шее – элегантно повязанный красный шарф, и это красно-черное напряженное сочетание усиливало страх. Он в самом деле на удивление напоминал героя моего романа, оказавшегося, к несчастью, привидением – с этим уж ничего нельзя было поделать. Бедная Элизабет! Однако юноша отбрасывал прекрасную тень и, стало быть, привидением быть не мог. Он подошел ко мне, старомодно поклонился и представился с иронической торжественностью:

– Лорд Фрэнсис Барклай!

– Леди Мэри Барклай, – представилась я в таком же тоне, стараясь казаться веселой, в то время как меня одолевал безотчетный страх от присутствия этого юноши на пустынной площади, – рада познакомиться с новым родственником! Сожалею, что не сделала этого раньше.

– Вы, собственно, не могли этого сделать раньше, – ответил Фрэнсис, – видите ли, я недавно приехал во владения своего отца. Нет-нет, графиня и граф, слава Богу, живы и здоровы. Я побочный сын графа.

– Ах, вот как! – я почувствовала облегчение от этого разъяснения, в котором уж во всяком случае не было ничего сверхъестественного. – Тогда вы и в самом деле мой новый родственник.

Фрэнсис как будто не слышал моего ответа и продолжал говорить, понижая голос почти до шепота:

– Вас могло обеспокоить мое письмо, в котором я не сообщил, по какой при чине произошел сбой в семейной хронике Барклаев. Прошу прощения, что заставил вас волноваться. Граф недавно официально усыновил меня. Однако мы успеем еще поговорить о семейных делах. Что ж, едем?

И, не дожидаясь ответа, он, элегантно и легко подхватив мой чемодан, направился к машине, стоявшей неподалеку у старого вяза. *И я последовала за ним.*

Здесь самое время заметить, что, в отличие от моего нового родственника, я отнюдь не была красавицей. Более того, моя внешность не отличалась ни оригинальностью, ни своеобразием – качествами, необходимыми, на мой взгляд, для писательницы. Я являла собой всего лишь коротко остриженное темно-русое существо невысокого роста, но, как уверяли некоторые мои знакомые, у меня живые карие глаза, которые как будто бы украшают меня.

Не исключено, что так оно и есть, поскольку молодые люди не обходили меня вниманием. Один из них, мой сокурсник Джеймс Стрейн из Нового Орлеана, уверявший, что его дом стоит на самом берегу Миссисипи, там, где она от избытка полноводности, пружинясь, изгибается дугой (при этом он показывал мне, как она изгибается, смешно изгибая руку), а негры не изменились со времен «Хижины дяди Тома», ходят также неторопливо, о чем-то таком думают сосредоточенно, и внешние уголки век у них как-

то по-особому опущены вниз, – так вот, этот Стрейн говорил, что «сходит по мне с ума», и даже сделал мне предложение, но я решила оставить великую Миссисипи одной из грез моего безоблачного детства, хотя этот американец мне откровенно нравился. Сейчас же, сидя в машине рядом с молчаливым принцем, я вдруг почувствовала неловкость от своей невидности и незначительности.

– «Постыдись, у тебя немало достоинств. Например, ты презрительно умна и самостоятельна», – шепнула я себе. Я любила иногда беседовать с собой.

Между тем, наступили сумерки, и яркая круглая луна плыла по темному безоблачному небу. Из окон машины угадывалась равнинная местность, поросшая кустарником, которая в зеленоватом лунном свете казалась дикой, как будто находилась за сотни миль от города. На душе у меня опять стало беспокойно от этого абсолютного безлюдья и глубокой тишины. «И в самом деле, я уже давно не видела ни одного чело века, – подумала я, – а собственно, почему?» Некоторое время мы ехали молча – новый родственник внезапно перестал со мной разговаривать. Я пыталась заговорить с ним, но он не отвечал мне. Его поведение перестало соответствовать гостеприимному тону письма. Наконец, словно почувствовав мое беспокойство, он проговорил: «Приехали – въезжаем на территорию парка». Мы проехали мимо сторожки и свернули к усадьбе.

Дорога обогнула залитую луной поляну и углубилась во мрак густого боскета, затем мы внезапно выехали на свободную от леса возвышенность, и я вскрикнула от восторга, увидев впереди на возвышении сказочный замок с зубчатыми башнями. Автомобиль остановился перед длинным рядом каменных ступеней старинной кладки, и Фрэнсис сказал: «Приехали».

IV. ОДИНОКИЙ ЗАМОК

Однако нас никто не встречал. Замок оказался безлюдным – не было ни прислуги, ни домоправительницы, не было привратника и управляющего. В известной инфернальной новелле, согласно замыслу, такого рода персонажи были не нужны. Напротив, присутствуя, они могли бы помешать автору спеть лебединую песнь по дому Эшеров. Но в данной локальной усадебной повести, которую я предчувствовала и втайне желала, итак, в этой усадебной повести привратника, нормального привратника – такого, какого мы неизменно встречаем в романах старых мастеров, таких как Стивенсон, Коллинз или Диккенс – ощутимо не хватало! Увы, я приехала в дом печали и запустения. Выходило так, что *некто другой* управляет действием.

Мы поднялись по деревянной скрипучей лестнице, и я успела почувствовать, что здание внутри было сумрачным и холодным. Переплетающиеся аркады средневекового сооружения, казалось, вели в иной мир. Я заметила блеск стеклянных витражей, и подумалось, что в солнечный день яркие лучи, проникающие сквозь них, кажутся кровавыми. Молодой хозяин, который по-прежнему хранил молчание, показал отведенную мне комнату, которая довольно уединенно располагалась в северном крыле дома.

Открыв ключом дверь и стараясь не смотреть в мою сторону, он проговорил: «ужин через час» и быстро удалился. Комната оказалась просторной, с большой кроватью стиля ампир у стены, камином и большим зеркалом у окна. Из окна в сумерках просматривался огромный парк, у которого, казалось, не было границ. Я надела зеленое закрытое платье, и спустилась по деревянной лестнице в освещенную столовую – довольно просторную комнату с высоким потолком, удачными пропорциями и изысканным убранством.

За накрытым столом сидели хозяйка замка. Графиня оказалась статной, седовласой, очень бледной женщиной с величественной осанкой, граф был на удивление похож на графиню, так что казалось – это брат и сестра. После недолгих приветствий мы принялись за еду, и я ощущала неловкость – беседу трудно было поддерживать, так как хозяйка казалась скованной, и как будто чего-то боялись, а молодой лорд и вовсе не притрагивался к еде. Я вежливо рассказала им о себе и о своих родителях, которые в последние годы предпочитали жить в Лондоне – им нравилась шумная городская жизнь, и в деревню они выезжали разве что в самый разгар лета. Странно, что хозяйка, пригласившие меня в гости, не в состоянии со мной разговаривать и сидят, почти не двигаясь, у стола, словно куклы деревянные. «Сюрреализм какой-то, – подумала я, – и все происходящее как будто вижу в неотчетливом сне». Я уже знала, что добровольно ввязалась в скверную историю, согласившись приехать в замок, и, сказавшись усталой с дороги, покинула молчаливое грустное застолье.

Войдя в комнату и плотно закрыв дверь, я решительно повернула ключ в замке. Я не стала раздеваться и легла в огромную, столь неуместную для готического замка ампирную кровать, свернувшись клубочком и укрывшись одеялом с головой, словно эти действия были необходимы для того, чтобы отгородить меня от надвигающейся неотвратимой беды. Я лежала, зажмурив глаза, и ждала в гнетущей тишине. Через некоторое время я села и долго смотрела на дверь, и когда глаза привыкли к темноте, то увидела то, что и ожидала увидеть: ключ, который я *намеренно* оставила в двери, начал медленно поворачиваться. И тогда панический ужас охватил меня, поскольку *это* – повторялось. То есть я хочу сказать, что поведение ключа в двери было точно таким же, как в одном страшном, пожалуй, самом страшном сне моего детства.

В том сне медленное *поворачивание* ключа, который *неизвестные мне существа* пытались вытолкнуть, чтобы вставить свой, другой ключ там, снаружи, и открыть дверь, сопровождалось грустным хоровым пением женскими нежными прекрасными голосами. Ключ с моей стороны поворачивался, раскачивался мучительно долго в сопровождении непрерывного ления, отзывавшегося пронзительной болью в моем детском сердце, но он – ключ – все же не выпал, и дверь так и не открылась. И сирены, толпившиеся за дверью в длинном коридоре, ведущем прямо во двор, остались без добычи, то есть без меня, пятилетней девочки, неотрывно, зачарованно смотревшей на ключ и понимавшей, что в нем спасенье. Вероятно, они ушли в сад, думала я. И в моем детском сознании возник призрачный маленький сад в светлой туманной дымке, с причудливо изогнутыми деревьями и раскидистыми узорными ветвями; на некоторых висели зеле-

ные яблоки, а на других – ярко-красные нарядные вишенки. Девушки в ~~прозрачных~~ прозрачных светлых платьях вели хороводы вокруг деревьев, и слышны были ~~из~~ са – они продолжали петь жалостно и прекрасно.

Собственно, а почему, как некий символ, кем-то выдвинут для меня крупным ~~замком~~ именно ключ? Дверь могла бы запереться и на задвижку или еще каким-нибудь ~~замком~~ замком. Это что же – ключ к потустороннему, неизвестному, запретному? Похоже. ~~От~~ далекое детское прошлое заявляет о себе, и от него исходит угроза. *Некто* знал о ~~моих~~ детских кошмарах и напоминал мне о них, подавая знак.

... Кажется, дверь полуоткрыта... Да, на этот раз дверь открылась. Пения ~~женских~~ голосов не слышно. Очень тихо. Это сон, как и *тогда* – это сон, и хорошо бы проснуться. У двери стоит кто-то... Контуры человеческой фигуры, словно проявляющиеся фото, становились отчетливей. Впрочем, уже не темно: странное зеленоватое свечение исходит откуда-то из-за двери. В *том* сне свет был тускло-желтым. Вижу знакомый мне с детства силуэт Толстого... стоит в дверях, не двигаясь, в белоснежной рубашке и как будто бы того самого крестьянского стиля... Да, это толстовка. Какая-то неестественно белая и как будто бы даже светится. Поначалу я обрадовалась, словно увидела близкого мне человека. Однако граф не отвечал на мое приветствие, и, словно продолжая думать о смысле своей давно не существующей жизни и устремив взор в пространство, заговорил глухим голосом: «Дожив до пятидесяти лет, я понял, что жизнь бессмысленна. Кем-то сыгранная надо мной глупая шутка... Там где-то есть Кто-то, который теперь потешается, глядя на меня». Глуховатый голос Толстого слышен откуда-то издалека. Он говорит то, о чем писал в «Исповеди», как будто бы не перешел в иной мир. И похоже, он находится во власти тех же мучительных вопросов, что и при жизни, и *там* истина ему так и не открылась.

– Лев Николаевич! – позвала я отчаянно, желая прервать его грешные речи. – *Теперь* вы знаете *все*. Вы знаете, *зачем* мы живем.

Но Лев Николаевич не слышит меня и продолжает смотреть куда-то мимо меня, лицо его бессмысленно, губы обвисли, и глаза тусклые. Почему я приняла это «существо» за Льва Толстого? Это что-то совсем другое. Но что же это? Это сон, и он не хочет быть доступным для понимания, сон хочет остаться непонятым. Мне не нужен этот сновидческий символизм, знать ничего не хочу, хочу проснуться. Но я не могла проснуться. Видение «Толстого» у двери постепенно стало растворяться и вместо него объявилось другое.

Мой новый родственник смотрит на меня влажными зелеными глазами, прислонившись к косяку двери. На нем также светится белая рубашка, но уже старинного кроя с кружевами. Он ухмыляется глумливо, а затем нарочито медленно направляется к моей кровати и говорит тем же глухим голосом:

– Я твой бог и нет у тебя другого повелителя, кроме меня, и не будет. – И с этими словами он положил холодную руку мне на лоб, я почувствовала непереносимую тяжесть и, задыхаясь, закричала и очнулась.

В комнате никого не было. Я посмотрела на дверь – она была заперта, и ключ был

на месте. Но слышны были удаляющиеся тяжелые шаги по скрипучей лестнице. Я соскочила с кровати, подбежала к окну и быстро распахнула его, чтобы уличный воздух ворвался в мой кошмар и уничтожил его. И тогда я увидела «Фрэнсиса» – он был в точности таким же, каким я видела его несколько минут назад – в той же белой рубашке, излучающей белый свет, и казалось, что вся его фигура излучала свет. Он шел ровным неторопливым шагом по центральной аллее, и светлое пятно, которое представлял весь его облик, удалялось все дальше в темную глубину парка и, наконец, скрылось во мраке ночи.

«Что ищет он ночью в парке?» – подумала я. Я сидела на кровати и пыталась решить, что делать дальше. В моей жизни сейчас происходит нечто, требующее решимости и характера. И нужно суметь сосредоточиться. Нужно вспомнить содержание письма, благодаря которому я очутилась здесь, и прочитанного мною бегло и легкомысленно. В письме говорилось, что в замке меня, автора «страшного» романа, ожидает много любопытного для дальнейшего творчества. Там было еще написано: «Нахожусь под впечатлением Вашего романа о привидениях». Зачем-то упоминался Федор Достоевский. Кто он, приславший мне письмо? Если я скажу, что ужас охватил меня, то я вряд ли выражу свое состояние. И еще. Вдруг мелькнули в моем сердце, нет, в моем сознании, серые свинцовые глаза, нечеловеческий взгляд, не ведающий пощады.

Прежде всего, прежде всего – нужно обратиться к хозяевам, которые за ужином, кажется, были едва живы... если вообще были живы. Я надела куртку и вышла на лестничную площадку, чтобы найти комнату хозяев, разбудить их и рассказать о видении. Я долго бродила в темноте по узким лестницам, но так и не смогла найти их комнаты. Я натыкалась лишь на голые глухие стены.

V. «СЕБЕ ПОСТРОИМ ТИХИЙ КРОВ...»²

Итак, в замке, куда меня заманили, причем *легко* заманили, по моим подозрениям, не было ни одной живой души, кроме моей собственной, и похоже было, что мне трудно будет отсюда выбраться. Силы – неравные.

У того, *кто* сильнее, была, очевидно, причина заманить именно *меня* сюда. У *них*, существующих в хаосе, налажен свой порядок, который я каким-то образом нарушила, разворошила. Сидя на ступеньках древней лестницы, я размышляла. В комнату я заходить не решалась, боясь случайно увидеть себя в зеркале. Воображаю, какое у тебя выражение лица, милая Мэри. Но в отличие от литературных предшественниц, ты не позволишь себе потерять сознание. Мэри Шелли не потеряла бы самообладания – она была сильной личностью.

Я *не смею* оплакивать свою судьбу, сидя в оцепенелой неподвижности на лестнице, тем более, что виновата: создала роман о сверхъестественной любви. Быть может, мой «нечестивый» роман вызвал гнев темных сил некоторыми наблюдениями, по которым *их* легче распознать? (Как оказалось, я переоценила свое значение в inferналь-

ном мире). Мысленно анализируя злополучное письмо, я еще раз обратила внимание на то, что в нем упоминался Федор Достоевский, творчество которого я преподавала студентам со страстным увлечением. Похоже, письмо было написано тем, кто только что нанес мне свой визит, и этому визитеру, вероятно, не нравятся мои писания и увлечения. А русский писатель Федор Достоевский мешает его существованию в том мире, к которому он принадлежит.

Мой нынешний «хозяин», объявивший себя моим богом, сейчас куда-то скрылся, и его отсутствием надо воспользоваться. Помни – случай плохой слуга, когда его зовут и ищут, и он же – помощник, когда ты на него не рассчитываешь.

Я тихо прошла через сумрачный зал к парадной двери – она на удивление легко и бесшумно открылась, и я спустилась по каменным ступеням. Моему взору в лунном свете открылся замковый парк пейзажного стиля, задуманный когда-то как парк свободы разума и духа, в эпоху, когда сень лесов считалась защитой от злых духов и невед. «А мы, любя дышать свободно, себе построим тихий кров за мрачной сению лесов. Куда бы злые и невежды вовек дороги не нашли, и где б, без страха и надежды, мы в мире жить с собой могли.»³

И этот парк свободы духа был захвачен злыми духами, и гений лесов скорбел.

Я пересекла подъездную аллею и направилась по выцветшей траве луга в глубину парка. Вскоре я очутилась на тропинке и углубилась в чащу, напоминающую лес. Я пробиралась, как мне казалось, бесконечно долго в надежде на то, что у парка может оказаться какой-нибудь выход, пока не наткнулась на странную поляну, которую замыкала высокая ярко-красная кирпичная стена. Поляна была усыпана желтыми цветами величиной с подсолнух. А впереди у стены, полукругом замыкающей поляну, белела беседка, усыпанная такими же, неведомого мира цветами, ярко выделявшимися тревожной желтизной на фоне красной стены.

Над ограниченным пространством поляны нависал черный небосвод, абсолютно неподвижный, лишенный каких бы то ни было оттенков и, скорее, напоминал нарисованный купол или вогнутый потолок, но только не с лампочкой, а с лунной посредине. Собственно, круглая, цвета меди луна, не отбрасывающая света, была посажена не в середину, то есть не совсем посредине, она почему-то была смещена вправо разрисованного черной краской неба с наскоро разбросанными в беспорядке, без соблюдения «правил» созвездий, крупными белыми звездами. Этот легкий сдвиг луны, выводящий «систему» из равновесия, вызывал раздражение, как будто именно отсутствие маркированного центра лишало происходящее смысла. Там где заканчивался изгиб кирпичной стены, слева, приютилась заброшенная, сиротливая, неуместная сейчас и здесь церковка с тусклыми печальными окнами, а за ней заметны были низкие светлые надгробия пустынного кладбища. И слышно было в его глубокой тишине унылое шуршание одиноких сухих листьев. Печальный час, печальное место.

Было почему-то светло. Я огляделась в поисках источника света и увидела исходящий откуда-то из-за стены интенсивно направленный грязно-желтый свет. Насколько помню, в «страшных» эпизодах инфернальных фильмов, предпочтительно голубое све-

чение, тогда как в данной «сценической постановке» *употреблялось* два цвета: зеленоватый и желтый. Декорация была подчеркнута театрализованной. Хотя, быть может, это не театр? Быть может, таков *иной мир*, в который я уже незаметно перешла? А это еще что такое? Шествие теней в загробном мире? Со стороны кладбища по направлению ко мне двигались тени, много теней, постепенно приобретающих некое подобие плоти. Кажется, этой ночью мне предстояло увидеть еще одно кошмарное представление. Многовато, скажем так, для одной ночи. А вот и оно – inferнальное представление. На поляну выбежали преобразенные из теней девушки, и нетрудно было догадаться по их бледно-зеленым лицам: они только что выбрались из могил.

Они были в одинаковых подвенечных платьях и венках на головах, и казались все на одно лицо. Выстроившись в хоровод, девушки, словно ожидая приказа, замерли, приготовившись к танцу. Еще мгновение – и вот они уже танцевали с закрытыми глазами, освещенные тусклым желтым светом. Я узнала их: это были виллисы – молодые невесты, умершие, не дожив до свадьбы. Я читала о них у немецкого романтика. Они танцевали испуганно, чувствуя, что дарованное время на исходе, и скоро пора возвращаться в могилы. Зрелище одинаковых девушек, упоенно и ритмично танцующих с закрытыми глазами так потрясло меня, что я, боясь лишиться рассудка, зажмурила глаза, чтобы не видеть, как под игм медной луны развязаны дикие страсти. Когда я снова открыла их, все было кончено – девушки бежали в сторону кладбища, и мгновенно вдруг пропали.

И тут я услышала шум рукоплесканий. Аплодировали где-то справа у скамейки, а также на чугунных ажурных балкончиках, которые я сейчас только заметила. Или вся эта шумная «жизнь» появилась только сейчас, в одно мгновение? Балкончики, казалось, были наскоро бутафорски приклеплены к правой стороне стены и заполнены дамами в длинных белых платьях с веерами. Я не сразу разглядела всю эту публику, глумливо аплодирующую несчастным девушкам и кричащую им вслед «Браво! Браво!». Весь этот веселящийся народ был одет по средневековому, но как-то обобщенно по средневековому, поскольку эпоха в этом спектакле, устроенном зачем-то для меня, не была датирована. Стало быть, передо мной разворачивается сцена универсального средневековья. Варварские зрелища, звериные развлечения, жестокие нравы – весь моральный быт драмы представлен для меня «режиссером» как серия тяжелых снов.

Приглядевшись, я увидела там же, справа у самой стены кирпичную скамью под золоченой Богородицей, а на скамье – окруженного толпой старика с иссохшим лицом и впалыми глазами, одетого в грубую монашескую одежду. Глядя на монаха, я изумилась тому, как точно он соответствовал нарисованному моим воображением образу Великого Инквизитора. В сознании внезапно возникли как будто внушенные кем-то строки из письма и настойчиво запрыгали перед глазами огненными буквами: «Наслышан о ваших захватывающих занятиях творчеством русских писателей и в особенности Федора Достоевского, великого выдумщика по части криминальных историй с религиозной моралью». Стало быть, в самом деле в моих злоключениях каким-то

образом замешан великий писатель, вернее, его великий персонаж, который – вот он! – обыкновенным образом сидит передо мной на скамье. Черные волосы ниспадают на его плечи, обрамляя бледное лицо, руки его непомерно длинные, и в правой – он властно сжимает трость.

Кардинал держался неестественно прямо, и казалось, тело его не сгибалось, словно было деревянным, так что создавалось впечатление, будто он прикован к этой скамье очень давно – вечность. Осанка была у него величественная, как сказал поэт, он был не барственен: царственен.

По-прежнему окружен был он мрачными своими помощниками и «священной стражей». И смотрел он на меня, сдвинув брови, и взгляд его, как в «Братьях Карамазовых», сверкал «зловещим огнем». И тем не менее, я заметила, что в глазах его застыл ужас непрощенного грешника. Инквизитор поманил меня пальцем.

Берлин, 10 июля 2003 г., (продолжение следует)

¹ Злополучный рассказ Байрона прозвучал вечером 16 июня 1816 года как устная новелла, ее записал доктор Джон Вильям Полидори, он же ее впоследствии и опубликовал под названием «Вампир» под авторством Байрона, вероятно, рассчитывая, что лучи славы Байрона каким-то образом падут и на него. Однако Байрон от авторства отказался.

² Н. М. Карамзин «Мысли об истинной свободе»

³ Н. М. Карамзин «Мысли об истинной свободе»

Виктория Шугачевская

ПИСЬМА ДРУГУ

1.

Первое письмо.

Я люблю тебя, мой брат, мой друг. Я знаю, что ты глубок. Я знаю...

Мое письмо о тебе.

Ты хочешь быть мудрым.

Ты мечтаешь о Небе.

Ты поклоняешься Искусству.

Ты одинок.

Твои близкие понимают тебя поверхностно – с твоей точки зрения. Они наивны – с твоей точки зрения. Прости меня, но они не наивны. Они не наивны, но ты одинок.

Ты ждешь Бога, а видишь людей. Серьезных, хороших людей... Но ведь ты ждешь Бога.

Ты не заблуждаешься: ты видишь людей.

Письмо второе.

Ты не ответил мне. Ты обиделся? – Напрасно.

Около озера сегодня утром играли дети, около моего озера, я живу рядом с ним...

Так создан человек. Так...

Письмо третье.

Ты думаешь, что я ошибаюсь. Нет. Я не ошибаюсь. Я вечно сужу ошибочно, если я – человек.

Прости...

Письмо четвертое.

Пойди в театр на оперу «Травиата». Опера о падшей, о мимолетной, о вечной. Опера о любви.

Ее герои – дети. Дети, озеро, смысл жизни...

Пойди...

Письмо пятое.

Мой друг, «Травиата» знакома тебе с детства. Я это знаю... Но разве ты

понимал в детстве,
что героиня – олицетворение минутного, безгрешного, природного.
Героиня – цветок, трава, падение. И героиня – человек... «Травиата»
Пойди...

Заключительное письмо.

Ты уехал. Ты уехал из родного города, и твоя жизнь стала мрачной.
Твоя семья не понимает тебя... Ты – изгой. Прости людей... Прости
самого себя.
Прости...

Мое заключительное письмо вернулось ко мне нераспечатанным.
Прости меня.
Прости...

2.

МОЕ ОЗЕРО

Озеро.

Рядом с домом – озеро.
Маленькое озеро – озерцо.
Я люблю его – светлое, холодное.
Мое озеро.
Озеро.

Русалка.

Озеро считает, что я – русалка.
Оно ошибается.
«Русалка».

День любви.

Озеро любит меня, как часть себя, оно нежит мое тело...
Озеро.
День любви.

Друг отвечает.

Он ответил мне зимой, когда озеро покрылось льдом.
Он ответил:
Я прошу написать мне, кто вы... Я прошу. Я вас ни разу не видел в
своем обществе.

Кто вы?

Он ответил.

Он забыл, что каждое утро видит за окном невдалеке золотистую иву –
каждое утро ива

склоняется над озером...

Я – ива.

Память друга.

Я – ива.

3.

ПОВЕСТИ О ГЛАВНОМ

Повесть о любви.

Я люблю...

Я люблю озеро.

Озеро...

Я люблю.

Повесть о дружбе.

Мой друг – Поэт.

Он не хочет со мной дружить...

Повесть о дружбе.

Озеро.

Мое озеро.

Заключение.

Озеро.

Озеро.

Озеро.

ВЕРИГИ

Поиск пути.

Он искал путь души. Истинный путь. Он страдал. Он не находил пути...
Однажды он полюбил. Она казалась невинной. Он обманулся. Он решил
ее оставить.

Он блуждал по жизни...

Поиск пути.

Вериги.
Вериги. Тело. Инстинкт.
Вериги.

Танец.

Она танцевала искусно.
Она была прелестна в постели.
Он убил ее танец презрением...
Танец.
Танец..

Мальчик-принц.

Камыши у пруда. Слезы девочки.
Мальчик-принц.

Лети. Лети...

Он летел над своим городом, над ней, юной, задумчиво красивой. Он
летел.
Лети. Лети...

Молчание.

Молчание Земли.
Молчание.

Грех.

Ошибка.
Случай греха на Земле част.
Ошибка.

СУЖДЕНИЕ

Тишина.

Молчание Богов.
 Суждение.
 Слово Человека.

Вымысел.

Дань Мечте.
 Ее коварство.
 Наивность.

Двойник.

Тень.

Глаз.

Солнце.

Суждение.

Власть Слова.

Конец.

Мнимый.

НОСТАЛЬГИЯ**Горы.**

Горы. Мысли. Бытие.

Игра на струнах.

Ностальгия.

Веселье.

Беспечность.

Ностальгия.

Печаль.

Имя.

Бога.

Иродиада.

Танец.

Послесловие.

Ностальгия.

Ностальгия.

По Небу.

МЫСЛЬ**Частый разговор.**

Он. Частый разговор с Богом. Молчание.

Частый разговор.

Смех.

Насмешка над страстью.

Мысль.

Она. Абстракция. Она.

Сонтие.

Пути любви.

Тайна веков.

Только мысль.

Мысль.

Таинство.

Конец.

Дань Бытию.

Ивам плачет.

Ветвями.

Послесловие.

Слезы.

Мысль.

Абстракция.

Ева

Яблоко.

Поиск пути.

Поиск Счастья.

Бытие.

Вымысел.

Суть.

Мысль.

Послесловие.

После Слова...

Любовь Рейнгач

* * *

Туго стянутый свивальник
По размеру, в аккурат.
Зорко зыркает дневальный:
Куколкой лежу крахмальной,
Непреклонный ловлю взгляд...
Чтоб ни вбок и ни назад.
Стрелки бабкой повивальной
Оббегают циферблат.

* * *

Корпус гладкий, нет пробоя.
«SOS» на внутреннем приборе.
Я – слепое, я – глухое
Разорвавшееся горе,
Заклоченное в броню.
Изначально. На корню.

* * *

Без почитанья, теплоты, не по-сыновьи
Октябрь выхватил бразды, не двинув бровью.
Объяты пламенем кусты, трещат от боли.
Горят осенние костры. Средневековье!
А жизнь, казалось, впереди, за предисловьем.
Ведь зарождалась от любви, а вышла – кровью.

* * *

Лес ужался. Вид тщедушный.
Спит под серой пеленой.
Листья в рваных полукружьях

Золотушны, в ранах гной.
Им ничто уже не нужно:
Жизнь осталась за спиной.
Косит осень равнодушно,
Брызжет желтою слюной.

* * *

Свой последний стежок затянула игла,
Серой ниткой заштопав пределы.
Постаралась, казалось, как только могла,
Но один из стежков проглядела.
И сейчас же в пробел синева потекла,
Затекла, растеклась. Осмелела.
Расступалась пред ней изумленная мгла –
Отворялись небесные сферы.

АВГУСТ

Еще в углу пылится ранец,
Еще не собран новобранец,
Еще так далеко до срока,
И нет причин для маеты.

Еще светло, не одиноко,
И столько сил, и столько соков,
И дышит плоть еще пороком,
Еще не смазаны черты.

Еще все с жаром, сол фиосо,
И к жизни – никаких упреков.
Но пробивается сквозь глянec
Апоплексический румянец.

* * *

Солнца лучики-гонцы
Просыпаются как будто.

Не спеша, но без ленцы
Красят небо перламутром.
И галдят, галдят скворцы
Про Янцзы, про Брамапутру.
И глядят, глядят птенцы
В неизведанное утро.

* * *

Что такое? Не пойбу.
Перепутались предлоги,
Суффиксы ведут пальбу
По приставкам. Съелись слоги.
Вдруг затеяла борьбу
Шайка зайцев длинноногих,
Мышки ходят у берлоги,
Взяв позорную трубу.
Великан несет в зобу
Двух лягушечек убогих,
Гиппопото-носороги
Везут сводки в Петербу.
Юд с вьюками меж горбу
Отдыхает на дороге,
А жирафы на дубу
Съели листья экологи.
А из сада зоологи
По объявленной тревоге
Вылетает марабу,
Посылает на три бу.

* * *

Ну наконец-то нет зимнего хлама!
«Вон!»-указали старухе перстом.
Ну наконец-то зеленая гамма!
Ну наконец-то весна – на престол!
Грязи не сыщешь ни капли, ни грамма,
Чистятся гнездышки, моется дом,
Стекла сияют, и чистые рамы
В них отражаются белым крестом.

* * *

Февраль и март поизносились.
Но не разнылись, не забились,
А с шиком, явно наносным,
Тряхнув алтыном запасным,
В мех горностая нарядились.
Прознав о пустоте казны,
Прервав, не доглядевши сны,
Пробив тугую ткань десны,
От пасов, фокусов весны
Внезапно крокусы явились.

* * *

Слогов, ритмов – как овец в кошаре.
Побоку – обычные заботы.
Тонкий луч по закоулкам шарит,
Нужные выискивая ноты.
И – освобождение от кошмара!
И – вознаграждение – в полете!
Это что? Работа полушарий?
Иль того, что не имеет плоти?

* * *

Лишь бы только оторвало,
Чтоб отлипли комья глины.
Лишь бы ухо услышало
Звук разжавшейся пружины.
Лишь бы сердце не солгало,
Лишь бы чувства – воедино,
Я смогу. С конца, с начала,
С буквы, с боку, с середины.

Вместо улиц – остатки склеротических вен.
Дома, будто «вприсядку», вниз ушли до колен.
Растерялись в догадках «Парадиз» и «Мадлен».
Тишь на детских площадках. Пуст каштановый плен.

Залежались в швах, в складках времени перемен.
Затхло, мертвенно-сладко в южном городе N.

* * *

Дом, перила, двор, подружки, летний зной...
Это было, это было ведь со мной!
Обрубило. Побелило сединой.
Это есть, и это здесь, сейчас, со мной.
Средь могилок свежий холмик насыпной...
Это будет, это сбудется со мной!
Дом, перила, свежий холмик насыпной...
Это было, есть, и будет — миг земной.

* * *

Одни — являются тайком
С походным, тощим узелком,
Вдруг вырастают в снежный ком,
Пронзая тело дрожью.
Другие — прутся напролом
Сквозь буерак, сквозь бурелом
Товарняком? Порожняком!
Груз оказался ложным.
Как различить, где ложь, где ком?
Как отучить, кто напролом?
Как распознать? Чутьем? Нутром?
Где ремесло, где Божье?

Борис Рохлин

МУЗЕЙ

Пошел не по той, но попал в нужное. Вопросы излишни. И не жалею. Согласен. Не жалею. Протеста нет. Не протестант. Законопослушен и всегда в приватной. Тихий, напуган, перехожу по зеленому.

Тем более решетка – не прутья толщиной в. А так, символ. И указывает на положение. О судьбе не говорю. Не люблю и портит стиль. Возвышен и ни при чем. Простой, без затей соответствует.

Никаких неожиданностей и уверенность в будущем. В силу отсутствия.

Здесь все обозначено и уход. Не то что забота, но рассчитано и следует расписанием дня и регламентом. Есть и не отнять.

Пенитенциарная человечна и привыкаешь быстро. Не в пример как. Да и время идет и скоро кончится. Интегрирую себя в новую. Мелочи быта и обживаюсь.

Хожу в гражданском. Сам по себе и вроде по собственному. Есть садик. Поливаю цветочки и рыхлю землю. Удобряю естественным. Скоро и сам превращусь в. Поспособствую росту и круговороту природы. Пригожусь и принесу пользу. На поверхности не удосужился и не вышло. Зато.

Вызывали к. И за хорошее поведение отпуск. Конец недели могу провести в домашней. Отсутствует и хотел отказаться. Подумая и принял. Решит, что лишен человеческих. Но не чужд переживаниям и склонен. Был благодарен и выразил.

Вышел и вспомнил. Свобода расслабляет и теряются очертания. Режим и порядок благотворны.

И не мешают. Но решил вкусить. Учитывая, что временно. Возвращение установлено табелем учета отпускников.

Солнце и ветерок колышет. Идти некуда, но. Греет. Заведение не в центре, потому окраина и много природы. Скучная, но просторно. Обернулся. Стоит. Здание старое и из красного. Служит верно и побегов нет. По-человечески и отчасти уютно. Хотел помахать, но не хватило. Шутливости. Порастерял в последнее. Да и не увидят, и некому. Пришло в голову.

Дошел до первой телефонной. Среди одно – и двухэтажных. Городок. Растет кипарис и ива. Сирень и розовый куст. Набрал номер. Знакомая. Давно не виделась, но существует. Решил попробовать. Память иногда удерживает ненужное: забытого приятеля, первый стакан или первое впечатление на почве роста и прочий мусор. Гудки длинные, обрываются и не дают результата. Не ожидала и отсутствует. Сол-

нечно, тепло и субботний. Всегда любила вне дома и на лоне. Сохранила привязанность. Не огорчился. Иначе не могло. И дело не. Результат неважен и в виду не имелся. Неподнадзорное движение, не более. Ради самого.

Остановился на мосту. Перила и выкурил сигарету, облокотившись. Вредная привычка. Но не в силах. Да и зачем? Решил. До большого ногами и не торопясь. Двинулся не спеша и продлевая.

Автострада и целеустремленно мимо. Овевают скоростью. Показались купола и шпили, улей и муравейник высотных. Прошел трамвай. Хорошая прогулка. Давно не было пешеходных. Вспомнил, как это делается.

Миновал квартал, попал в значное. Стоят на брусчатой. Сапоги до колен и сверху прикрывает.

Пение сирен и заслушался. Присел, чтобы не побежать на мелодию. Прикрыл глаза веками. Тяжелые, припухли и приглушают звук. Нежнее и отдаленнее. Мелодия все тише и пропала.

Стоит прикрыть ресницами, пение сирен безопасно. И не соблазняет. Хватит. Соблазнился однажды. Теперь на расстоянии и с приятнью. Но позвонил еще. То же и подруга отсутствует.

Не надо звонить в теплые, солнечные дни суббот.

В программу входило посещение музея. Любил когда-то. Потом отошел. Душно, запахи и посетителей слишком. Картины, скульптуры. Маслом и в мраморе. Гравюры на дереве. Купидоны в бронзе. Стал припоминать. Перспектива, персонажи, райский сад, Адам с Евой, растительность и плод. Есть искуситель. Морские сражения и сухопутные. Все в красках. Жизнь простых и домашней. Приватной и частно.

Провинился, нет слов. Был открыт, опознан и установлена идентичность. Руки не крутили и не грозили огнестрельным. Корректно и по-современному. Цивилизованно и нет претензий. Повесткой и прибыл без опоздания. Признание и раскаяние. Чистосердечное облегчает. Нравственно. Не быт и продленку жизни. Но душу и сердце. Сам убедился.

Островок музеев. Вижу и расположены. Много и разные. В одном месте и собраны подряд. В уме не сосчитать и невольно на пальцах. Надо собраться и выбрать. Все равно что. Национальную, Британский, Венский, Эрмитаж, Лувр, Пергамон или Прадо.

Посещение музея и пенитенциарной было суждено. Внесено в книгу записей гражданского состояния. Не успел рот открыть, вписали. Не спрашивая.

Ясли и отдых на пути в Египет. Поклонение волхвов. Явились без опоздания и по путеводной.

Поход закончился благополучно и поручение выполнили. Хотя местность изобиловала и шли нехожеными. Опасности, звери, водопады, пустыни, горный ландшафт с оползнями и обвалами. Вброд, вплавь, ногами и на перекладных. Носороги, единороги, птица Рухх и динозавры.

Вот и музей. Не торопись, осознай важность момента. Сам выбрал. Правильно

ли? Выяснится позднее и в свое время. Пора войти, а то неудобно и привлекаешь внимание. Собираюсь. Топчу место. На котором. Переступаю подошвами. Ступени гранитные и широки. Фронтон высоко и нависает. Лучше б упал. Нет проблем и не стоишь перед выбором. Что меня сюда привело? Зачем вышел? Там так хорошо. Побудка, завтрак и поливаю.

Предки и обращаюсь. Слышат, но не могут и не знают как. Сочувствуют и сожаление. Далеко и не дотянутся.

Что делать? Больше нельзя. Оттягивать. Раз надо и должен. Закрываю глаза, протягиваю руки и, ослепленный, вхожу. Слышу, поют и музыка. Отпевают. Меня? Почему нет? Давно пора. Готов и мелко трясет. Спокойно. Когда-нибудь, да. И вот настало. Время и сам поторопил. Оказалось, можно. Перевел не в ту. Часы и показали. Нужное.

Иду. Никто не подходит. Не обращается. Мол, давно Вас ждем, заждались. И скучаем отсутствием. Есть посетители. Немного и не мешают. Они не страшны. Такие же, как я. Или я, как они. Внешне и в шивильном. Надо смотреть. Открой! Зачем? Вижу вслепую и до мелочей. Их я все равно не узнаю. Не хочу, не хочу. Вот сейчас. Держись, – говорю. Шаг, другой, еще.

Созерцай будущее. Неудовимо и не знаешь. Но на подходе. Не спеши и не торопись. Оно само.

Твоя помощь не потребуется. Скорей бы.

Троянская Елена, Штурм Вавилона, Буря в Эгейском, Ахерон и Женщина в белом, Египет третьего до. Скорпионы и жирафы, Тенти и Имеретиф, супружеская пара. Столько лет и вместе.

Приятно смотреть. Ритуал захоронения. Меню разнообразно. Вино, масло, козленок, утка, овощи, фрукты. Ничто не забыто. Успокаивает, но зависть. Сознаешь: тебе такое не светит.

Согласен, недостоин и справедливо.

Опять. Вижу машину и стоит. Заходили в дом. Спрашивали. Теперь все. Выяснен, вычислен и занесен. Они знают, что я – это он. Смотрел, отодвинув штору. Сделал маленькую щелку. Чтоб не заметили. Понял, не уйти, да и некуда. Один что-то писал. Данные и кто я такой. Адрес и выходные. Раздался звонок. Телефонный? Сжался. Превратился в другое. Незаметное. И уполз в щель. Хотел, мелькнуло. Нельзя. Только в. Детские сказки. Бывает в прозе и удачно. Мне не дано. Мужчина и завит. Парик и локоны. Другой с короткой стрижкой и свои. Обратил внимание. Красиво и со вкусом. Отвлечься от собственной. Никчемна и кончилась. Попасть бы туда. Там строго и трудности. Но другое. И мог бы продолжить. Не знаю, что и в каком виде. Дерево или тростник. Завидую. Тихо и ветер колеблет. Пойду на папирус. Напишут иероглиф, выведут вязью. И вечная жизнь обеспечена. В библиотеке на окраине Вселенной.

Но не уйти. Вижу машину. Их. Всего двое, но с меня хватит. Выглянул. Никого, пусто. Уехали. Не торопятся. Знают, что не уйду. Дождусь. Придут и возьмут.

Скажу:

«Наконец-то!»

Им все известно. Даже это.

Длинный узкий коридор с тупиком в конце. Стены. Иду между. Искушение Святого Антония, Иеронима, Балдуина, Павлина, Себастьяна. Вереница искушений. И много разного. Летает и ползает. Им хуже, чем мне. Вряд ли. Вот и искупление. Ад и искупают. Преступившие, нарушившие, попали случайно и по ошибке. Заблудились. Всем в соответствии и по справедливости. Мне тоже и сознаю.

Она, в который раз. Машина, шинами по асфальту. Плавно и шорох. Звонок. Дверной и стучит.

Мягко, неторопливо. Уверенность, и настойчиво. К тому же воспитаны. В их заведении дисциплина и учат корректности поведения. Все, все знают. Прошрое, сегодняшнее и что завтра.

От них не уйти. Не доказать и не поверят, что ты – не он.

Пекло, огонь, отражения, свет красный, колеблется. Метание языков и заполняет. Корчатся, выпадая из рамы. Кто-то прошел и посмотрел. Сбоку и боковым. Отвернулся резко и сделал вид.

Развязался шнурок и нагнулся. Подумал. Слишком. Заметно и не без испуга. Исчез. Случайно и не за мной.

За стенами Музея третий день дождь. Листья облетели. Наверное, осень или от ветра. Сколько я здесь? Не знаю. Потерял счет. Надо все обойти. Тогда выяснится. Там, в конце.

Снова машина. Другая. Сидят и не выходят. Не торопи. Выйдут. Тут недолго. Перейти улицу.

Меня нет, а я продолжаю. Это кажется. Это не я. Другой. Я давно там, где должен.

Распят и пронзен стрелами. Вокруг полиция, служба безопасности, солдаты срочной и контрактники. Толпится народ. Любопытные, сочувствующие и от нечего делать. Развлечения редки. Жители местности. Холмиста. Высокое небо над с редкими облаками. Солнечно, тепло, весенний день после.

Произошло Рождество и случилось многое другое. События, оказии. И все примечательны и не забыты. Сменился император. Прежний отстранен от должности. Два легиона реформированы по ненадежности, один за ненадобностью и возрастом рядовых и центурионов. Набраны новые из Африки и Малой Азии. В Галлии и на Рейне тихо. Разбиты и замирины. Ганнон давно достиг. Потом забыли что. Открыта Эфиопия. Все в красках и пышно. Штандарты, плюмажи, значки легионов. Счастливчики. Давно нет.

Юдифь несет голову Олоферна. Львы примирились с Даниилом. Изображение олицетворяет.

Сейчас окликнут, задержат. Втянул голову в плечи. Звонок. Вздрагиваю и останавливаюсь. Это за мной. Еще не готов. Прошу отсрочки и отложить. Идут навстре-

чу. Жду повторения. Но тишина. Шаги не удаляются. Наконец различимы. Не верю. Подкрадываюсь к замочной. Сквозь нее никого и подтверждает отсрочку.

Опушка леса. Бабочки, стрекозы. Птички разные и щебечут. Рядом ручей. Прозрачен и каменистое дно. На берегу двое: Дафнис и Хлоя. Ни овец, ни коз. Разбрелись и не видно. Идиллия. Смотрю. Потираю руки. Ледяные и не согреть. Значит сегодня все кончится. Хочу продлить и лучше неизвестность. Надеялся. Все-таки была. На что? Проскочить и не замечен.

Невидим. Почему не? На то мгновение. Единственное. Дверь скрипнула и открылась. Сдержал крик. Выглянул из-за платяного. Никого. От сквозняка. Начиная сходить. Не рано ли? Впереди еще много чего. Музей в самом начале. Киоск, гардероб и кассы. Последняя зала не скоро. Если есть. Суворов переходит через Альпы. Бурлаки тащат барку. Пейзаж с коровами и одуванчиками. Куст сирени и дама в голубом. На берегу реки. В шляпе и с зонтиком. Прохожу, не задерживаясь. Было давно и в детском. Со сказками Перро и Городком в табакерке. Не вернуть. Поздно и ни к чему.

Машина стоит. На том же месте. Как всегда, двое. Но пол разный. Мужчина и женщина. Он за рулем. Она пишет. На больших белых листах. Не в клеточку и не в линейку. Выглянул осторожно и на мгновение. И спрятался. Понимая. Напрасно.

Когда входил в дом, обратил внимание. Фотографируют. Делают вид, улыбку и дома. Знаю, что нет. Меня. Зачем? Я весь здесь. Натурой и могу быть представлен. В любое время. Одетый и в голом, в фас и в профиль. Не понимаю. Чтоб внести и запечатлеть. «Дело» без облика не «Дело». Одно неверное движение. Дрогнула рука. Рука ли? Не, не, не. Не в ней. Неважно. И вся.

Как ни бывало. Держись, держись. А сколько ни, все равно сорвешься. Утешаю, не нахожу. Ищу, но нет утешения. Если б хоть не видел. Машину. Но была. Я на улице. Поднял голову.

Стоит. Сколько прошло? До двух не считаешь. А песок посыпался из песочных. И время остановилось. Не видел бы – не знал. Легче. И вдруг пронесло. Теперь нет. Не могу. Вижу, стоит. И пишет, пишет.

Колесный пароход по Миссисипи. Брызги летят во все. Влажные и пронизаны. Пассажиры на палубе. Смутно цветные пятна. Платья пышные, с буфами. Юбки, лифы. Шляпки с лентами. И зонтики от солнца. Жаркий и безветрие. Густая зелень по обоям. Еще не вырублена и радует глаз. Век позапрошлый и Новый Свет.

Не был, не знаю. Новый не значит лучше. Ничего не значит. Со мной там было бы то же.

От веры удален. Не удосужился. Но обращался неоднократно. Помилуй, прonesи. В первый и последний. Все бывает. Жизнь прожить – не поле и пр. Понимал, он то давно простил. Задолго до. Еще ничего не совершил, не сделал и не преступил. А он уже тебя на все четыре. Иди, мол, с.

Знал заранее, что так будет и именно так. Не избежит и не преступит. Он – да. Но не от него зависит. Они ему не внемлют и не слышат. Следуют другому. Веле-

нию и параграфу службы. Сами придумали, сами и следуют. И правильно. Согласен. Иначе один беспорядок.

Скрипнула дверь. Не дверь. Окно. Петли слабые. Спрятался за кресло. Сел на пол, голову руками и уткнул в колени. Сжался, чтоб не трястись и беззвучно. Главное, не выдать себя, где ты. Может и нет вообще.

Ели, сосны, свежий пенек и белка. Удивлена и смотрит мимо. Тянет грустной нотой. Издалека доносится голос. Знаком, но забыт в детстве. Вернуться и вспомнить никак. Не позволяет природа и закоснел в нынешней.

Возможность созерцать бесконечна. Музей предоставляет. И делаю. Не отказываюсь. Хотя пришел за другим. Неясно, туманно и пребываю внешне. Состою из зрения. Но отсутствую и направлен в другую.

Они уже здесь? Или? Не узнаю. Есть и разные. Кто из них кто? Все похожи и подходят. Неужели конец и не уйти? Не готов и предполагал задержаться. Не зависит. Пожелания не учитываются.

Только закон и согласно букве. Остановился и сделал вид, что. На самом деле вокруг и сзади.

Никого. Но чувствую, рядом. Вышли на меня. Не спешат и не торопятся предъявить. Правильно.

Ход их мысли ясен. Куда он денется. Но есть и много. Вариантов не счесть. Разрешают сразу и все. Они знают. Их это устраивает. Не тороплюсь и медлю. Назло. Чтоб досадить. Немного осталось. Видел машину сквозь шелку шторы. Другая и другие в ней. Они. Меня не обмануть.

Посылают разных, чтоб не спугнуть. Не проведут. Спрятался в шкаф, закрыв изнутри. Долго не смог. Сказался недостаток воздуха.

Много воды и кораблей. Век семнадцатый. Морские сражения у Ливорно, Амстердама, в Гибралтарском и Зундском. Четырехдневное в Северном Море. Богато выглядит. Цвет хорош.

И придраться и слышишь. Стреляют, тонут и просят о помощи. Представлены много на эту тему.

А сослуживцы? Здороваются и даже улыбка. Но знают. Одно притворство и хитрость. Все, как прежде, но не то. Состояние подтверждает. Холодно, озноб и трясет. Внешне только. Жду каждую. По часам. Смотрю и считаю. Секунды. Одна, две, три. Сейчас рванет — и конец. До чего дойти?! Так каждый рабочий. Говорю, заслужил. И повторяю. Но не нахожу и не согласен.

Заблудился. Сколько я тут? Давно не видел погоды. Какая она сейчас? И время года. Есть ли?

Один зал переходит в другой. Картины и статуи. Витражи. Мумии и саркофаги. Современность и до Рождества. Средние и прошлый. Наскальная и выставка детского.

Выхожу из и попадаю. Опять и снова. Кружу и не выйти. Это не зря. Здесь что-то есть. Подвох, хитрость. Не могу понять, в чем и где скрывается. Музей неисчер-

паем и неограничен. Бесконечность была заложена в проект и смету. Это ясно. Но было начало и вход. Или показалось. Если были, то где? Может оно и к. Лучше и продолжаю. Один. Никого, кроме.

Видел и попадались. Исчезли. Увлёкся и не заметил. Попал в запасники? Не похоже. Расставлено, завешено. И со смыслом. Есть пространство между и смотришь с разных.

Знает. Уловил. Разговаривал с ней. Любезна и улыбалась. Но отстранено. Словно, не со мной.

Вроде меня нет. А так, тень. И не смотрит. Скорей бы. Скорей бы все прояснилось. Они не помогут. Наоборот. Но я сам, сам. Все узнаю. У них молчание и умалчивание. Это – план. Это не просто. Так им удобнее. Скажу прямо. Это – разговор. Не преувеличиваю и знаю. Для чего?

Погубить меня. Опозорить. И подлежит уничтожению. Было решено кем-то. Они – только исполнители. Хотят, чтобы меня не было. Я мешаю. И решили устранить. Но буду продолжать, пока хватит сил. Не отступлюсь.

Вознесение и много ангелов. Прозрачно и синева. Собралось любопытных и наблюдают. Удивлены, но благожелательно. Принимают непостижимое. Значит, так должно быть. Раз есть.

Я тоже хотел бы. Исчез и пошел по солнечному. Луч тонкий и от него тепло. Иду босиком и не режет. Куда-то пропал. Другой зал и экспонаты. Сердце, печень, почки. Есть мочево́й. Все заспиртовано и как живое. Волокна или водоросли. Нет, сосуды. Кровеносные и по ним движется и перетекает. Дар почивших искусству и науке. Фигуры мужчин, женщин, детей. Из воска и очень натурально. Смотрю и удивлен. Узнаю себя в одной. Точная копия. Как мог оказаться здесь? Загадка. Поражен. Не скрою. Ислуга нет, но удивительно. Не то что ждал. Однако, в этом роде и подготовился к встрече. Смотрю. Похож так, что начинаю путаться. Где настоящий? Вот-вот заговорит и пойдет. Он – это я? А я? Где?

Так и знал. Улыбнулся. Подает руку. Я невольно. И пожимает мою. Теплая и живая. Заговорил.

Голос один к одному. Отличие есть. Вальяжен, размерен и барин. Мог бы быть, да обстоятельства. Сон или схожу? Нет, реальность. Принимаю и сказать в ответ. Что и как? Голос не повинуется. Невнятный шепот. Смотрит с пониманием и сочувствует.

«Я вижу, Вы одни. Не согласитесь ли взять меня в спутники? Вместе веселее. К тому же я совсем чужой здесь. Ничего не знаю и ни с кем не знаком. Вы могли бы помочь мне. Я давно привык к одиночеству. Но сейчас, увидев Вас, я понял, что оно мне наскучило. Мне захотелось общения. Прошу, не удивляйтесь и воспринимайте меня как друга. Я – Ваш друг с давних и долго ждал Вас. Увы, Вы заставили себя ждать. Прошу, не отталкивайте меня. Поверьте, я заслужил Ваше внимание.

Пойдемте, – сказал он, – надеюсь, прогулка будет приятной, и Вы не пожалеете».

Он взял меня под руку. И мы вдвоем покинули зал скелетов и оживающих

восковых фигур. Я был вне себя. Не мог пролепетать ни слова. Он продолжал:

«Вы, конечно, удивлены нашим сходством. Согласен, мы похожи. Не столь, как Вам кажется.

Сходство есть, но. Знаете, игра природы. Причудлива и не поддается».

Дар слова вернулся ко мне. И, заикаясь, — споткнулся и немота, остановка на каждом не произнесенном, — я согласился с ним, что, конечно, да, игра природы, и понятно. Принимаю и нет возражений. Но Вы были, — я надолго замолчал, он смотрел на меня с пониманием, словно зная, что я скажу, — восковой фигурой, персоной.

Я запутался, нет, испугался и замолчал, внимательно смотря на него.

Он не смутился и с приятной, немного грустной улыбкой, — у него вообще были приятные и располагающие, невольно вызывали доверие, — ответил:

«Вы ошибаетесь. Здесь нет никакой загадки. Никакой мистики. Не воображайте. Я сразу заметил, что Вы воображаете. Все очень просто. Я долго не мог найти работу и согласился быть живым экспонатом. Временно. Но временное имеет забавное свойство. Затягиваться и окаменевать. И я задержался в этой роли. Возможно, если б не Вы, остался бы в ней навсегда».

Это простое объяснение одновременно и успокоило, и огорчило меня. Я ждал пусть страшного, но удивительного и необыкновенного. Однако пришлось согласиться. Объяснение было удовлетворительно со всех точек зрения. К нему нельзя было придаться. Хотя неприятный привкус остался. Темное пятно недосказанности. И что значит «если б не Вы?» Но я не решился спросить. Он был искренен, доброжелателен и откровенен. Так незатейлив в своих объяснениях, что я побоялся быть бестактным. Мы шли медленно. Он придерживал меня за руку, словно боясь споткнуться. Вероятно, это было именно так. Долгое время он был экспонатом и совершать прогулки ему не полагалось. Запрещено музейными правилами.

В конце концов мы оказались в зале античной скульптуры. Обнаженные фигуры, мужские и женские, белели в полумраке подвального помещения. Еще более пленительные в этих сумерках.

Пока мы шли, он был скорее погружен в себя, чем смотрел вокруг. Задумчив, рассеян и не обращал ни на что внимания. Хотя мы прошли несколько зал с разным и не без интереса. Но тут он неожиданно оживился и стал внимательно осматривать скульптуры. Но только женские.

Обратил внимание. Лицо порозовело, глаза потемнели. Он был взволнован. Каждую обходил со всех сторон. Медленно, иногда задерживался на неопределенное. Одной коснулся рукой. Осторожно и боязливо. Тут же отдернул, словно обжегся. Глаза стали похожи на собачьи. Печальны. И жалобные, словно просили о прощении. Странный субъект.

Но как похож! До ужаса, до дрожи. Близнец, да и только. Глаза закрываются, чтоб не видеть.

Он был увлечен и не замечал меня. Я отошел в сторону. Тень от атлета или героя падала на меня. Я весь скрылся в ней. Она вернула меня к себе. Эта встреча

и было то, что я ожидал или она – случайное, непреднамеренное отклонение?

«Где Вы живете?» – неожиданно спросил он.

Я вздрогнул. Он был рядом. Незаметно, неслышно.

«Я?»

Переспросил и почувствовал неловкость. Еще подумает, что стыжусь его.

«В тюрьме», – сказал я.

«То есть как? Все еще там?»

«А Вы откуда?» – спросил я, не скрывая удивления.

«Слышал, – как-то неопределенно сказал он, – ну и как?»

«Неплохо, – ответил я, – можно сказать, хорошо».

И вдруг добавил:

«Мне нравится. Лучше, чем в других местах».

«И чем же?» – спросил он равнодушно и не скрывая.

«Лучше и все», – ответил я раздражаясь.

Тюремная была моя и только моя. Эта жизнь принадлежала мне. Вся, без остатка. Я ее заслужил и не хотел делиться ни с кем. Да и вряд ли кто-нибудь был способен понять меня.

Он стоял неподвижно и прямо. Слишком неподвижно и слишком прямо. Превращается в экспонат. Или привычка и бессознательно согласно предписанным правилам?

Странно. Он услышал. И сразу ответил:

«Нет, нет. Я не хочу с Вами расставаться и предлагаю продолжить прогулку.

Если Вы не возражаете».

Помолчал и добавил:

«У нас прекрасно получается. Впервые испытываю такое удовольствие в музее».

И повторил:

«Так Вы не возражаете?»

Я не ответил. И мы в молчании покинули античный зал. Я шел впереди. Он покорно следовал за мной. Портретные галереи императоров, героев и полководцев, голландские бордели семнадцатого, зал натюрмортов. Изобилие, превышающее воображение и потребность. Утка взлетает со стола, рука персонажа в шляпе и брыжах поднимает бокал и опрокидывает.

Ночной дозор, блеск оружия и кирас. Служба безопасности. На страже и не дремлет. Далекая эпоха. Но нравы учтены. Примеряется ожерелье и театр марионеток. В движении и разевают рты. Адамы и Евы. Апостолы и Пророки. Переход через Красное. Аргонавты и Обнаженная с попугаем. Свадьба на лоне летним полуднем. Танец предков под сенью давно опавшей листвы.

Охотники в снегу и перепись младенцев в Вифлееме.

Мы молча переходили из зала в зал. И мне начинало казаться, что другого не дано. Что я уже там, среди них. Не могу расстаться и покинуть. Раз я вошел.

Неожиданно он нарушил молчание.

Я вздрогнул. Он знает, о чем я думаю. Он слышит мои мысли.

«У меня есть предложение, – сказал он. – Давайте останемся здесь. Выберем зал, приемлемый для жизни. Впрочем. Тут везде неплохо. Мне показалось. Мы оба не любим мира, в котором нас заставили поселиться. Вы выбрали тюрьму. Пусть поневоле и не сознавая. Вы сделали неверный и дурной выбор. Тюрьма не для Вас. Я выбрал музей. Уверяю, это верный ход. И единственно возможный. Но быть экспонатом надоедает. Скучно. Нет слов, много возможностей для наблюдения. Удобно. Посетители не догадываются и ведут себя соответственно. Но в конце концов становишься пессимистом. Вы себе представить не можете, до какой степени. Вдвоем же мы проживем совсем не плохо.

В нашем распоряжении все искусство Вселенной. Я думаю, нам удастся разрешить много загадок. В частности, каждого из нас. Мы с вами на самом деле ребус, маленький кроссворд.

Очень вероятно, он окажется интереснее, чем мы предполагаем. Уверяю Вас, это занимательное занятие. А главное, совершенно платоническое. В этом вся прелесть. Принимайте мое предложение. Вы не пожалеете».

Вероятно, – подумал я. – это именно то, за чем я сюда пришел. И согласился.

Мой маленький рай, который я открыл не по своей воле. Но к которому привык и полюбил. Я не вернулся туда. Нарушил и предал забвению. Кто будет теперь поливать цветы? Не знаю.

Послышались звуки волынки. Издалека. Меланхоличны и примиряют.

Я понял, что сделал правильный выбор. И не ошибся.

ГРОССМЕЙСТЕР

Когда очередной российский «Топтыгин» ошарашил население «одной шестой», не ко сну будь сказано, Указом «о борьбе с пьянством и алкоголизмом», оно, население, закладывая за воротник меньше не стало, но пьянствовали несколько угрюмо, без плясок и песен. Чтобы не попасть в лапы не в меру ретивых блюстителей «величайшего указа», любители выпить прибегали к удивительным ухищрениям, уловкам, которым мог бы позавидовать любой тончайший фантаст. Об одном случае я и хочу рассказать.

Пересекал я однажды городской парк. Стояла поздняя осень. Стемнело. Редкие парковые фонари бросали скупой свет на аллен. Было безлюдно и лишь впереди у шахматного павильона маячили две мужские фигуры. Меня они тоже заметили, но я не ощущал никакого беспокойства. Даже не пытался обойти их стороной.

– Огонька не найдется? – услышал я, поравнявшись с ними.

Я молча вынул зажигалку и протянул ее спросившему. Мужчина прикурил и, возвращая ее, ненавязчиво, как бы, между прочим, сказал:

– Меня зовут Сергеем, а вот его, – он кивнул в сторону своего приятеля, – Володей.

Я назвал свое имя. Ну, вот и познакомились, подытожил Сергей. А теперь не мешало бы выпить по этому поводу. Я ответил согласием. Но где?

– В ресторан я в данный момент не располагаю средствами, а в парке на скамейке неловко.

– Можно набрести на неприятное приключение, – констатировал я.

– Положись на меня, – сказал Сергей, – я все устрою, хотя приключения возможны, жить без них скучно.

С первого взгляда Сергей внушал к себе доверие. В нем чувствовался лидер со знанием дела.

Общение с ним манило к продолжению знакомства, уходить не хотелось.

– Что ж, я полагаюсь на вас, – без колебаний согласился я.

Мы вышли из парка, сели в троллейбус, на следующей остановке зашли в гастронорм. Винный отдел был, естественно, уже закрыт, но Сергей уверенно, как к себе домой, прошел в подсобное помещение. Мы с Володей, который с момента нашего знакомства не проронил ни слова. Вдруг он спросил, внимательно разглядывая меня:

– Почему вы согласились выпивать с абсолютно незнакомым вам человеком? А

зпрочем, это не мое дело. Желаю вам весело провести время, а мне некогда. Прощай-те.

И он быстро ушел. Вскоре появился Сергей. Портфель его заметно увеличился в объеме.

– Пошли, – сказал он, даже не заметив отсутствия товарища.

Через пять минут мы оказались у дверей шахматного павильона. Мы поднялись на второй этаж. В комнате, куда мы вошли, стояли несколько столиков с расставленными на них шахматными фигурами. За одним из них сидели игроки. Несколько человек стояли у магнитной доски с шахматным полем и изображением состояния шахматной партии. Они не обратили на нас никакого внимания, разбирая игру. Мы сели за свободный столик в углу, Сергей вытащил из портфеля бутылку вина, откупорил ее и протянул мне. Затем он достал другую бутылку, сделал из нее большой глоток и пригласил меня последовать ему. Мы стали играть в шахматы, периодически отхлебывая из своих бутылок. Я был увлечен игрой, но интуитивно почувствовал на себе посторонний взгляд. Возле столика стоял администратор и смотрел на нас с таким выражением лица, словно он находится в состоянии сна и ему все это приснилось. Рот его то открывался, то безмолвно закрывался, словно язык не в силах был пошевеливаться. Наконец он как бы неуверенно произнес:

– Здесь же не пьют.

Сергей, не глядя на него, поднес ко рту бутылку, запрокинул голову, допил ее содержимое и уверенно поставил бутылку на стол. Затем поднялся и, не глядя на администратора, неторопливо направился к выходу. Администратор посторонился, уступая ему дорогу.

– Вы что, с ума сошли, – набросился я на Сергея уже на улице. – Я впервые попал в такую ситуацию. Нас ведь могли забрать в милицию.

– Я тоже впервые в такой ситуации, – со смехом сказал Сергей, – и вообще в этом заведении такого больше не будет. В этом-то и вся закавыка. Милиции никогда не придет в голову искать алкашей в шахматном клубе. Учись, сынок! – он покровительственно хлопнул меня по плечу и ушел не прощаясь. Как привидение.

РЕКОРД ГИННЕСА

Я видел перед собой только эту спину. Все остальное меня не интересовало. Спина принадлежала бандиту по кличке «Гапон». Жил он на нашей улице, когда не сидел в тюрьме.

Первый раз его осудили за убийство сторожихи, когда ему едва исполнилось 14 лет. По причине малолетства он получил небольшой срок, но с тех пор жизнь его состояла из коротких промежутков пребывания на свободе и длительных сроков – в тюрьме. Никакие законы не в состоянии были его перевоспитать. Это был патологический преступник.

И вот сейчас я обязан был его покарать. Я видел перед собой спину – его спину, в которую намеревался всадить нож. Но сколько я ни старался, догнать его я не мог. Гапон убегал.

Стоило мне прибавить скорость, он делал то же самое. Я чувствовал, что усталость овладевает нами, но дистанция не сокращалась, она оставалась удивительно постоянной. Нас разделяли всего каких-нибудь три метра, но как я ни напрягался, я не в состоянии был их преодолеть.

Я задыхался, понимая, что силы вот-вот покинут меня, но в этот момент Гапон споткнулся обо что-то и грохнулся на землю. Я мгновенно, напрягая остатки сил, рванулся вперед, настигая ненавистную спину и с размаха... свалился на пол. П слышался щелчок выключателя – и комнату залил свет. Надо мной стояла перепуганная жена, на шторе, вцепившись в нее когтями, висел ошалевший от ужаса наш кот и выл почти человеческим голосом. Все тело ныло от падения.

Утром соседи интересовались: что у нас взорвалось ночью?

Удивительным было то, что именно в ту ночь я спал не как обычно с краю, а у стены.

С тех пор прошло много лет, но я и по сей день не могу понять, какая нечистая сила оторвала меня тогда от кровати, перебросила через спящую жену и швырнула на пол.

ОН

Ирина открыла глаза и увидела, что лежит в больничной палате. Кроме нее здесь находились еще три женщины, которые спали, укрывшись одеялами с головой. Ирина стала вспоминать события вчерашнего вечера и поняла, что попала в необычную клинику, в которой уже однажды была. На душе было тошно. Появилось какое-то странное чувство – что-то среднее между стыдом и страхом, замешанными на растерянности. Неважно, что не получилось так, как она хотела. В жизни возникает много случайностей, прерывающих логический ход событий, надуманных или выстраданных, как это произошло с Ириной.

Она думала об этом не один год. Это чувство напоминало свет дорожного фонаря, исчезающего за окном автомобиля и возникающего вновь. Оно вспыхивало и сладко тянуло к себе.

Ее герой, – назовем его условно – Он, также становился чем-то далеким, холодным, чужим, встречи с Ним были все отвратительнее. Она искала повода уйти от Него навсегда. Но как? Слово сильный наркотик, Он крепко держал ее. То неожиданно рассказывал ей историю их любви и это на некоторое время согревало ее, то придумывал очередную ложь, коварно выдавая ее за чистую правду. Расставаясь с Ним, она не спала ночами. Однажды Он поведал ей о государственном конфликте. Нравоучительно, как воспитательница в детском саду сказку о Красной шапочке и сером волке или словно перед ним был недоразвитый младенец. Так Он вел себя не только с ней, а со всеми, предъявляя себя интеллигентом и эрудитом. Он учил людей дурить друг друга. И сейчас, лежа в палате, Ирина вспоминала редкие приятные встречи с Ним. Однажды, Он показал ей репродукцию картины слепого мальчика с изображением каких-то невероятных цветов. Люди, глядя на эту картину, чувствовали особый прилив сил и вдохновения. Он с придыханием говорил ей о своих религиозных чувствах, о глубокой вере в Бога, доставая при этом нательный крестик и упоенно целуя его. Было стыдно и смешно наблюдать за Ним, ибо еще совсем недавно Он верил в другого «бога» – мелкого и грязного, испачканного кровью своей «паствы». Если бы Ирину спросили, в чем суть Его, она бы не задумываясь ответила: «Он страшный и опасный лгун». Выносить это месиво лжи и подлости у нее не хватало сил. От постоянного общения с Ним стали сдавать нервы, появилась седина.

Теперь, находясь в больнице, Ирина смутно вспоминала, как вчера днем, выйдя из дому, она села в переполненный автобус. Дважды пыталась из него выйти, но из-за тесноты пассажиры не могли пропустить ее к выходу. Автобус давно уже стал развалиной с изрезанными сидениями, не закрывающимися дверьми, расхлябанными частями кузова, которые стучали, вибрировали, отбивая нервную дробь. Автобус жалобно кричал, жалуясь на свое состояние. Да и пассажиры не могли ему помочь – большинство из них были в таком же состоянии полного развала души и тела. Наконец автобус остановился и мгновенно опустел. Ирина поняла, что он прибыл на конечную остановку. Она прошла несколько шагов и оказалась на небольшой солнечной поляне, с трех сторон окруженной лесом. Обыкновенным подмосковным лесом с его отличительными чертами: множеством мусора, бумаги, банок из-под консервов, затоптанными кострами. Ирина вспомнила, что Он говорил ей, что в лесах сейчас чисто, как люди добровольно выходят на природу и приводят ее в порядок. Сейчас она убедилась в Его очередной лжи. Ужас состоял в том, что его друзья и коллеги лгут так же, как Он. Господи, как она ненавидела все это вранье.

Страхнув тяжелые мысли, она углубилась в лес, подальше от шоссе. Бежала без оглядки долго, пока сердце позволяло ей это. Она прилегла на сухой мох и задремала. Ей стало хорошо. Над ней плавно покачивались кроны деревьев. Это был добрый взгляд Природы, обращенный к ней, слабой женщине, выросшей в громком городе среди жестких и суетливых людей. Здесь, в лесу, были ее доброжелатели, которым она могла довериться. И она уснула, поглощенная властью леса, желто-зеленого мха, стройных сосен, снующими муравьями, звонко жужжащими стрекозами и иной мелкой лесной живностью.

Проснулась она в какой-то благодати. Солнце, уходя в закат, бросало на мир последние штрихи.

Природа готовилась к отдыху. Ирина стала вспоминать только что увиденный сон, в котором она была главным персонажем. Сон был страшный, рисующий жуткую картину ее будущего. Она поняла, что Он – ее враг и надо что-то предпринять, чтобы никогда больше не видеть ни Его, ни Его друзей – всю эту свору ничтожных лгунов, подхалимов, бездарей и тупиц.

Она медленно пошла в сторону шоссе, сперва немного заблудившись, раздумывая и решая то, что много лет зрело в ее душе. Так продолжалось до самого рассвета, пока с первыми лучами солнца, словно привидение, возник ее громадный город и первый автобус. В полудне – ее дом.

И она поступила так, как надумала раньше...

Дверь в палату открылась, Ирину пересадили в коляску и повезли в глубину отделения Главврач, высокий красивый мужчина пятидесяти лет,

обошел вокруг стола, подал ей руку, другой рукой медленно, профессиональным движением запрокинул ее голову и посмотрел в глаза. Улыбнулся и спросил: «Как вас теперь величать, Ириной или Ириной Владимировной?» – «Лучше Ирой».

Он снова сел за стол и произнес короткий успокаивающий монолог. Он говорил по-доброму искренне, вовсе не так, как обычно применяют формальные слова большинство его коллег.

«Поступок ваш, Ира, я осуждать не намерен. Вы хотели уйти в иной мир уже во второй раз.

Но это дело не ваше, а Всевышнего. Он дал вам жизнь, он ее и отнимет. Да и рассчитывать с жизнью при помощи снотворных таблеток – это мелко. Не следует, Ира, нарушать законы Божьи». – Он встал и сказал ласково и спокойно: «Вы красивая. По письму, которое вы оставили на подушке дивана, я понял, что вы умны и чисты душой. Вы чудная. Будь я помоложе, я влюбился бы в вас и прожил бы жизнь в полной гармонии с вами... А что этот ваш Он? Я понял, что он дрянь, подонок, хамелеон. Кстати, кто он, ваш ненавистник, какую должность занимает, как зовут его?».

Ирина впервые широко открыла глаза: «Он – страшный враг человечества. Будь он проклят. Я

ненавижу его, но никак не смогу избавиться от него навсегда. Люди называют его Я-Щ-И-К,

Т-Е-Л-Е-В-И-З-О-Р». Обалдевший врач прокричал: «Его надо выключить в чертовой матери!». Повисла пауза, и Ирина, безнадежно махнув рукой, с грустью сказала: «Его не выключишь. Он сильный! Он сильнее всех!».

Вера Федорова

ЗАКАТ

Все краски золота вобрал в себя закат:
он ослепительный, он пламенный, пурпурный,
он ночи вакханальной старший брат,
пленительный, греховный и амурный.

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО

Укрытое задумчивою сенью,
окутано заботливою тенью,
сияет гладью озеро лесное ?
безлюдное, спокойное, немое.
Вот лебедь за собой ведет подругу.
Счастливые плывут они по кругу.
Пушистой аркой ветки под водою
свисают непокорной красотою,
как кудри девушек, как спутанные нити.
Звучит волшебное адажио... Замрите!

МОНОЛИТ

На склоне голом и горбатым
поднялся дружно до небес
тяжелый, кряжистый, мохнатый,
густой, непроходимый лес.

Сцепившись сильными ветвями,
листвою пышной шевелит.
С его венозными корнями
стоит он, словно монолит.

ТИХАЯ ЗАВОДЬ

На тихой заводи цветы
лежат воротником,
вокруг деревья и кусты
сплетаются венком.

Нет шума, суеты нигде,
все стихло сразу вдруг,
и только утка на воде
ломает кругом круг.

ВЕТКА КЛЕНА

Ветка тонкая кленовая,
твой анфас, такой изысканный,
прихожу увидеть снова я
в лес, почти уже безлиственный.

Солнцем осени спаленная,
вызываешь умиление.
Золотая и зеленая,
ты рождаешь вдохновение.

ОДУВАНЧИК

На пригорке одуванчик золотистый,
словно маленькое солнце, яркий, чистый,
простодушный и беспечный, как ребенок,
тянется из влажных он пеленок.
Молоком еще наполнено все тело,
но на мир глядит уверенно и смело.

СУМЕРКИ

Погас неистовый закат
лимонный, желтый, алый;

уснул в тиши хмельной агат,
остывший и усталый.

Не слышно песен, и река
качает берег сонный.
Пустые сети рыбака
висят в реке бездонной.

Нигде не шлепает весло,
и чайка не летает,
головку прячет под крыло.
Уходит вечер. Тает.

Георгий Хлусевич

У КОСТРА

Тянуло с севера холодком – и рыбалка не обещала быть удачной.

Рыба отошла от берега. Так всегда бывает на озерах Омской области в мае. В теплый солнечный день вода у берега на мелководье прогревается и рыбка греется, жирует и клюет, а потянет холодом, пойдет серая рябь по воде – и уходит рыбка от берега вглубь, где спокойнее. Вот уже два часа компания участковых докторов тщетно размахивала удочками, пытаясь закинуть крючок подальше, – ни карасика, ни поклевки. Метрах в тридцати от берега торчали в воде две палки, значительно отдаленные друг от друга. Палки – это для непосвященных, а доктора, в большинстве своем в этих местах родившиеся и на озерной рыбке возросшие, знали, что там стоит двадцатиметровая сеть и сеть, скорей всего, не пустая. Им-то и надо было самую малость: четыре – пять хороших карасиков на уху, хотя бы для запаха. Было, конечно, у них с собой на закуску и сало, и яйца вареные, и лучок, и редиска, но что за рыбалка без ухи? Ничего не оставалось, как осмотреть чужую сеть.

Моральный кодекс сибиряка брать чужое не позволял. Неудобно как-то! А хозяину двадцатиметровой сети в нерест браконьерничать удобно?

Решили сделать так: один сплавает до сети и сделает осмотр, если улов неважный, обижать хозяина не будут, а если рыбки достаточно – возьмут на ушницу без разрешения.

Осмотр сети превзошел все ожидания – густо забили сеть золотистые карасики. Но как взять?

Окна двух домов, стоящих на пригорке, выходили на озеро. А вдруг хозяин заметит, выйдет с двенадцатым калибром, а в нем картечь – они тут все охотники, что тогда?

Посоветовались и придумали: пусть тот, кто делал ревизию, засунет в плавки трех карасиков, доплывет до берега – и все шито-крыто.

Принструктировали с берега того, что болтался у сети. – Он был категорически против: «Да они мне келдыш откусят, а потом с ним сбегут» – кричал он посиневшими от холода губами.

Действительно, в плавках их не удержишь. Послали на подмогу доктора в семейных трусах. Он взял трех карасей с лопату, положил их в целлофановый мешок, засунул в трусы и выплыл для конспирации не там, где сидела компания, а поближе к деревне.

Идет по берегу, а в трусах что-то страшно выпячивается, да еще и шевелится. А навстречу баба с ведрами на коромыслах.

Долго оглядывалась: век прожила, а такого хозяйства не видала.

Залили в ушницу традиционные пятьдесят грамм, для смаку, себя не забыли, и пошла беседа у костра. Говорили о нравственности. Нет! Такого слова никто не произносил, и если вам кто-нибудь расскажет, что четыре захмелевших мужика, в отсутствии жен, говорят у костра о разумном и вечном – не верьте! Но в принципе разговор шел о морали, хотя и косвенно. Спорили вот о чем: где люди лучше, проще и совестливей? В городе или в деревне? Мнения разделились. Каждый судил о предмете на основании какого-нибудь происшедшего с ним случая.

«А что такое совесть?» – размышлял главный добытчик, тот, что в семейных трусах, – и сам отвечал: «Совесть – это стыд перед самим собой».

Совершить нехороший поступок стыдно не только перед собой, но и перед знакомыми. В большом городе люди более одиноки и разрозненны, чем в деревне. Его никто не знает, а значит, не осудят.

Значит, нет и не может быть внутренних тормозов. Ко мне пристал мужик в Москве на Рижском вокзале, давай, мол, бутылочку портвейна приговорим. А я как раз поел. Мне сытому на дух не надо. Он меня часа два уговаривал. На вид нормальный мужик, на бомжа не похож. Короче, он меня достал. «Наливай, хрен с тобой». Распили бутылмент на двоих. Он мне говорит: «С тебя один рубль семьдесят копеек». Вот, сука! Он бутылку домой нести боялся и выпить один не мог, вот он и искал второго. Дал я ему два рубля – подавись. И ведь не стыдно ему, потому что он меня видел первый и последний раз в жизни. А сделай он такое в деревне – засмеют, проходу не дадут». «Да и на селе иногда такое увидишь», начал доктор с соседнего участка: – У меня на днях вызов был ночью интересный. Кстати, вы слышали про Ритвишковых?». Про Ритвишковых слышали. – Я у них на вызове был. Директор позвонил, он же у Ритвишкова – сосед». – Сходи, – говорит, – опять там шум, крик, может помощь нужно оказать. – А я же не мент, чтобы их утихомиривать. Пусть – говорю, – участковый сначала сходит, если нуждаются в помощи, поможем. Участкового, конечно, тютю, пошел я сам. Захожу во двор. Собака – зверь на цепи сидит и не лает, а скулит. На кухне свет горит, в зале – полумрак. Головой к порогу лежит приятной полноты бабенка лицом вниз. Голову на руки положила, ну, знаете, как школьник, когда на парте спит. На ней розовая рубашка заголилась выше пояса, у меня аж теплое чувство к ней шевельнулось. Думаю: пьяная. Перешагнула через нее, свет в зале включаю – лампочка не горит. Когда глаза пообвыклись, вижу: Ритвишков сидит в кресле и смотрит на меня не мигая. Ноги широко расставил, чтобы не упасть. Смотрю: ноги в крови, а рядом двустволка лежит и одна гильза рядом. Я на ружье наступил, чтобы он не схватил, он же здоровый бугай – с ним не сладишь. Наклонился к нему: на нем рубаха тлеет, видимо, дымный порох был, вот рубашка то и загорелась. Присмотрелся – он мертвый, прямо в сердце саданул. – Саданул – это, если ножом, а если из ружья, то выстрелил, поправили рассказчика. – Не мешайте, грамотен, – сказал очевидец и продолжал: – Думаю, она живая. Перевернул: ежэлемэнэ! У нее поллица нет и глаз на нерве висит. Лужа крови под руками застыла уже. Вызвали директора, участкового нашли, позвонили судмедэксперту. Мы потом пытались смоделировать ситуацию. У него, конечно, был бред ревности, как у многих алкоголиков. Он ее однажды

чуть не зарубил за свой же окурочок: подумал, что любовник бычок оставил. И в этот раз опять скандальеро и за ружье. Прицелился, она лицо одеялом закрыла, он и бабахнул. Мы потом на одеяле дырки нашли. Она вскочила, прыгнула к порогу, упала, голову рефлекторно закрыла руками и умерла. А ему как застрелиться? Он же из правого ствола бахнул, а между курками палец ноги не проходит. Тогда он перезарядил из левого ствола в правый, а уж между скобой и передним курком – куда с добром. Сел в кресло, выстрелил в сердце, так сидя и умер. – А почему ноги то в крови? спросил кто-то. – Как почему, переворачивал, наверно, чтобы убедиться. – Ну, этот случай не типичный, дураков полно и в городе, и в деревне. – Я вообще против института брака, – брякнул ни к селу ни к городу самый захмелевший. – Стоп! – закричали хором. – Уходим от темы. – Да я же не договорил. – Меня к Миронихе на днях вызывали. Она села на горшок под утро и упала. Дед ее кое-как до кровати допер – она же центнера полтора будет, ну и меня вызвал. – И почему это все инсульты под утро происходят?

– Как почему, – царство вагуса. – Да и гормоналка к утру активизируется.

– Не знаю, что там активизируется, но инсульты, астма, роды, гипертонические кризы, инфаркты – все под утро. – Конечно гормоналка, тестостерон, например: под утро кормильца двумя руками не согнешь. Посмеялись. – Вы, бля, дадите рассказать или нет? – Давай! – Осмотрел я Мирониху: геморрагический инсульт – к бабке не ходи. Хрипит, без сознания, слева сухожильные рефлексы отсутствуют, а главное – горячая на ощупь, дело швах – кровь в голове. Прогноз хреновый. Дед мне: «Скажите, доктор, только честно, сколько ей осталось жить?» Ну что, думаю, обманывать старика, надежды подавать. Так, чтобы не обидеть, говорю ему: «Вызывайте детей, дольше суток не протянет». Дед помчался в сени, возвращается с луком. Да-да, целую связку лука мне сует: «Это вам подарок от меня. Я думал, что эту суку не переживу». Как вам нравится? Живут на селе, заметьте, на людях милуются; под ручку ходят, а на самом деле – два врага под одной крышей и не год, не два – всю жизнь! И тут вступил в разговор доктор, доселе молчавший: «Я тоже раньше думал, что деревенские люди чище в нравственном отношении, но мне один коллега рассказал занятную историю» – начал он, и все моментально поняли, что никто ничего ему не рассказывал, а что произошло это с ним, потому и сидел-гадал: рассказать или нет – стеснялся, а вот теперь принял грамульку и решился. Поняли, но виду деликатно не подали. И скромный доктор рассказал о себе во втором лице: Был он направлен на отдаленный участок в командировку «на прорыв». Когда-то там была участковая больница, потом ее в связи с хрущевскими нововведениями то укрупняли, то разукрупняли, потом вообще закрыли, оставив на месте фельдшерский пункт. Завал в работе был полный. Ни одного человека не проверили на глаукому, два года не было флюорографии, даже по детству отставали от районных показателей: всякие там пробы Манту, Пирке проводились нерегулярно, в общем – крах! Доктор поселился прямо в больнице, в бывшей палате, и начал руководить. Прежде всего, нужно было найти шофера на «скорую» – прежний недавно уволился. Трудно на участке найти дурака, который согласился бы сутками работать без выходных. Дело даже не в нагрузке, иногда можно целый день без вызова просидеть, но ведь отлучиться нельзя – вот

беда-то: ни на покос, ни в лес за грибами, ни на рыбалку, ни к зазнобе в соседние деревню, а самое главное – выпить нельзя, даже в праздники, короче – постоянное мерзкое ожидание вызова. На некоторых участках добились, чтобы шофера работало посменно, но в годовой смете деньги были заложены только на одного водителя, поэтому приходилось перебрасывать средства с других статей, в общем, проблема. Вдруг нашлся шофер. Светловолосый, длинный как жердь парень, родом из Тюменской области. Ему так обрадовались, что сразу дали дом на окраине деревни, куда он тут же перевез семью. Пригласил доктора на обед, познакомил с домочадцами. Посмотрел доктор на жену и обомлел. Ничего, кроме поговорки: «Не один черт лапти стоптал, пока их вместе свел» – на ум не пришло. У Вовы глаза не тронуты умом и говорит на «о» нажимая, а у нее такая зелень лукавая под ресницами и излагает правильно. В обращении проста, приветлива, непринужденна. Ведет себя раскованно, одета со вкусом и хороша, чертовски хороша собой, хоть и субтильна. Субтильна, но без худобы, заметьте, – просто тонкокостна. Где он нашел ее? Что общего у них, кроме детей? О чем они могут говорить между собой при столь бросающейся в глаза разнице интеллектов? Недолго обсасывал эту мысль доктор, тем более что жил по принципу: «на чужой каравай рот не разевай». Через несколько дней Вова попросился на «скорой» смотаться в Тюменскую область. Отец, мол, лося завалил, мяса привезу на себя и на вас. Вопрос был не простой. Попросить в совхозе машину на замену – бесполезно: «У вас же своя «скорая» есть», – скажут. Наврать, что машина сломалась, тогда не покинешь гараж. Придумать, что Вовка заболел, тем более глупо – совхоз даст водителя, чтобы на этой «скорой» вместо Вовы поработал. Думал – думал доктор и решил: «Вот что, – сказал он Вовке, – поедешь ночью, к утру назад – отец жил недалеко, но если будет вызов, я тебя не отпускаю». Несмотря на очевидную авантюристность затеи – в случае разоблачения водитель был бы незамедлительно уволен – Вовка охотно согласился. Даже слишком охотно... В тот день приехали из района рентгенологи, до вечера проводили флюорографию, потом так науживались, что догонялись настойкой заманихи, а когда они уехали, доктор задремал с устатку. Проснулся от ощущения присутствия постороннего в комнате. Открыл глаза: на кровати сидела жена шофера и, улыбаясь, смотрела на него. «Что же мы не закрываемся?» – спросила она. – Заходите, гости дорогие, берите что хотите». Если вы думаете, что доктор спросил даму о том, как и почему она вошла к нему без стука, – вы ошибаетесь. Что вообще должен делать здоровый и холостой мужик с замужней, красивой бабенкой, присевшей к нему на кровать? А вот что! Он легко перекинул соблазнительницу через себя к стенке, расстегнул кофточку, освободил от бюстгалтера грудь и, умирая от желания, всосал розовый сосок, сладострастно прикусив его. Рука его в это время продвигалась между плотно сжатыми бедрами вверх, достигла лона и уже ощутила горячую скользкость жемчужины. Сладко заныло и забилося его сердце от предвкушения предстоящей близости, но женщина вдруг убрала руку и резко поднялась. «Не сейчас, я здесь боюсь, – пытаюсь выровнять дыхание, сказала она и добавила: «Придешь ко мне в два ночи». Это не входило в планы доктора, он снова положил ее рядом, закрыл ей поцелуем рот, не давая ей говорить, и попытался раздвинуть ноги уже энергичнее, но женщина

была непреклонна. Она поднялась с постели, поправила прическу и ушла, посмотрев на распаленного доктора столь многообещающе, что он поставил будильник на два часа ночи, чтобы не проспать. О, интуиция! Почему мы не прислушиваемся к нашей спасительнице, почему обижаем ее пренебрежением к ее советам и предостережениям? Женщина ушла, а доктор почувствовал неясную тревогу, абсолютно беспричинную, казалось бы. Ведь никто никогда ни о чем не узнает. Но ощущение надвигающейся опасности обручем сдавило сердце. Он не мог конкретно представить себе, откуда исходит угроза, но присутствие какой-то поганки было очевидным. Какая-то гадость витала в прокуренном рентгенологами воздухе. Во-первых, не хотелось быть свиньей по отношению к Вовке. Как с ним работать потом? Доктор не выносил неестественности отношений между людьми, а о какой естественности могла идти речь после случившегося? Во-вторых, он не хотел идти к ней домой. Он знал по опыту, что муж всегда прав, застань он их у себя в доме. Не хотелось чувствовать себя воришкой, трусливо и пакостно обворовавшего того, кто ему доверял. «Не пойду», решил доктор, но зазвонил будильник – и он пошел. Шел дождь, дорогу тут же развезло, пришлось надеть резиновые сапоги. «Хорош любовничек, – думал доктор, пытаюсь взглянуть на себя со стороны, только болотников не хватало». Дверь была открыта, в детской спали двое детишек, Вовкина жена приложила палец к губам, показывая на дверь. «Смелая», подумал доктор, осторожно, чтобы не разбудить детей, укладывая ее на семейную кровать. Кровать бессовестно скрипела, он сел на стоящий рядом стул и буквально насадил ее на себя. Она почти не двигалась, но он отчетливо ощущал ритмичные сокращения жадно поглотившей его корень сочной плоти, и ожидание сладостного содрогания было столь велико, что влага любви истекала из нее на обивку сиденья. Доктор не помнил, как долго он пробыл у нее, он совершенно утратил ощущение времени, и вдруг окна спальни осветились фарами поворачивающей к дому машины. «Это Вовка», сказала она без видимого испуга, не торопись, он еще выйдет ворота в гараж открывать – я их проволокой перевязала». С сапогами в руках, шлепая босыми ногами по мокрой траве, доктор бежал через огород, проклиная все на свете. Утром Вовка сказал, что прошел дождь, машина стала буксовать – пришлось вернуться с полпути. Он был совершенно спокоен и приветлив, как всегда, и версия была более чем правдоподобной, но доктор дал бы голову на отсечение, что он все знает. В амурной практике доктора уже был случай, когда никто ничего не видел, а муж, тем не менее, об адюльтере узнал. Дело было так. Пришла к нему вечером в общежитие жена сильно пьющего студента – Юры Д. Спросила, не знает ли он, где муж. Обратилась именно к нему, потому что он с Юрой подрабатывал сторожем в детсадишке. Сказала, что мужа уже сутки нет дома, попросила довести ее до детсадика: может быть, супруг там. В садике Юры не оказалось, зато в скверике на Разгуляе нашлась очень хрупкая лавочка, которая проломилась под ними в самый неподходящий момент. Через некоторое время Юра отвел донжуана в сторону и сказал, что все знает. «Я бы на твоём месте, имея такую женщину, как у тебя, не оскорблял ее дурацкими подозрениями» – ответил студент, совершенно уверенный, что его «берут на понт». Но Юра рассказал обалдевшему сокурснику историю с лавочкой, взял с него честное слово, что это больше не повто-

рится, и попросил на две бутылки популярного в то время среди студентов вина – «Биле мишне». Разоблаченный студент дал алкашу-рогоносцу деньги, и на этом инцидент был исчерпан. Преданный любовник даже не обиделся на глупую женщину, – он знал примерно, как все произошло. Видимо, был скандал по поводу хронического пьянства мужа, угрозы бросить его к чертовой матери. И на обычное: «Кому ты нужна», – рассказала все подробно, чтобы побольней уесть. Там было все ясно, но как раскрылась тайна в данном случае? Ничего не оставалось, кроме как объяснить происшедшее фразой, прочитанной у Бунина: «Неисповедимы пути, по которым ревнивый муж узнает об измене». Через три дня доктор зашел в прачечную за утюгом и увидел, что Вова с женой идут в больницу. Свет в прачечной не горел, поэтому доктор видел парочку, а они его нет. Остановились у окна. «Я сама ему скажу, ты молчи», – приказным тоном сказала жена, и они пошли к входу в больницу. Доктор, лихорадочно соображавший, что могли обозначать эти слова, встретил семейку в коридоре. – Что это вам дома не сидится? – стараясь унять внутреннюю дрожь, спросил доктор. – Мне надо с вами поговорить, сказала Вовина подруга жизни и добавила, обращаясь к мужу: «Ты постой здесь». Зашли в кабинет. «Я беременна от тебя», – начала она, неприятно тыкая, – и не собираюсь сама платить за аборт». Тут доктора осенило: Бог мой! Аборт стоит пятьдесят рублей, и ради этого Вовик подставил свою беременную жену, придумал историю с мясом – уехал, чтобы дать им возможность уединиться и, вернувшись, не торопился зайти в дом, дав время любовнику уйти восвояси. Доктор всегда считал жадность худшим из человеческих пороков, но чтобы до такой степени? Он взял рецептурный бланк и написал на нем знакомому гинекологу: «Женя, дорогой, сделай нам аборт – я расплачусь», – расписался и объяснил внезапно забеременевшей, как найти в районе гинеколога, и семья ушла. Аборт ей был сделан, доктор расплатился и выставил коллеге замечательный магарыч. Вскоре Вова разбил «скорую» по пьянке, оказал сопротивление участковому, чудом избежал уголовной ответственности и уехал с семьей в Тюменскую область. «Вот вам и повод для размышлений о моральном облике сельского жителя Вовы и его жены», – закончил повествование доктор.

Костер давно погас, но от углей еще шло приятное тепло. Никто не сказал ни слова осуждения, да и сам доктор поймал себя на мысли, что презрение, сопровождавшее любое воспоминание о жадном Вове и его продажной жене, куда-то улетучилось. «В конце концов, – думал доктор, – я мог ей просто понравиться как мужчина, и она уговорила своего дурака на интригу, совмещая приятное с полезным. А мне было так хорошо с ней в ту дождливую ночь, и может быть, в этом радостном слиянии тел и есть высший смысл жизни? Может быть».

Альфред Ходорковский

* * *

У подданных тирана нет родины
Жан де Лабрюйер

Нет родины у подданных тирана? –
Будоражит каверзный вопрос.
Возникая поздно или рано,
Он тревожит до седых волос.

Мы живем сегодня на чужбине...
Вспоминая горечь прошлых лет,
В Тель-Авиве, Бруклине, Берлине
Безуспешно ищем мы ответ.

Родину никто не выбирает,
И напрасен потому вопрос
О земле, что нам казалась раем
Лишь в тени есенинских берез.

Родину никто не выбирает –
В глубине души она живет,
Как незаживающая рана,
Что болит все ночи напролет.

ПАМЯТИ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА

«Тень моя живет меж вами»

Средь неискренних песен и слов,
Где талант оказался в излишке,
За рядами парадных голов
Мне мерещатся нары и вышки.

Горло сжала стальная рука
Неотвязно, безжалостно, цепко...

Чей-то палец уже у курка,
Чья-то жизнь разлетается в щепки.

Захоронены в книжке стихи –
Необузданность тем и сюжетов.
В них сказались страдания Поэта
В неприкаянном крае стихий.

Это трепетный голос души
Изливается вольно стихами.
Вся в печали, в тревожной тиши
Тень Поэта склонилась над нами.

* * *

На плоскогорье, в седловине
Предвечных Иудейских гор
Красуется, как на картине,
Иерусалим, лаская взор.

Царем Давидом был воспет он
И назван верхом красоты.
Божественным наполнен светом
Тот город Веры и Мечты.

Он в нас живет – живет незримо
И в мирный час и в час тревог.
Кто без него, Иерусалима,
Судьбу страны представить мог?

Здесь Плача древняя Стена
Нам о былом напоминает.
И не на нас лежит вина,
Что мира та Земля не знает.

Земля Святая! Верим мы,
Живя мечтой неугасимой:
Придет конец господству тьмы –
И будет мир в Иерусалиме.

ИОСИФ И ДОРИОН

...Много женщин знал и видел он –
Хмель успеха застилал глаза,
Но ему одну лишь Дорион
Для любви послали небеса.

Смуглость кожи в запахе сандала
И улыбка – ветерок весны...
На лицо атласное упала
Прядь волос игривостью волны.

Он познал любви чудесный сон
И желаний радостных накал.
В час ночной о страстной Дорион
Он стихи напевные слагал.

Без нее они теряют смысл –
Только с ней их музыка жива.
Так немой родившаяся мысль
Обретает нужные слова.

Потерял он счет счастливых дней –
Как вином, любовью напоен.
Сладость мира – вся хранится в ней,
В женщине, чье имя Дорион.

ВЕЧНЫЙ ЖИД

Я виноват? Какая чушь!
Как истый стойк
По жизни вечно волочусь –
мне нет покоя.
Для всех какой-то не такой
И непривычный,
И нарушающий покой
До неприличья.
Я виноват, я виноват,
А в чем – не знаю.
Я был убит, я был изъят,

Но воскресаю.
Пусть кровь горячая – к вискам:
Иду упрямо –
Как по ступеням – по векам.
Я – тот же самый.

* * *

Накаркал ворон в неурочный час,
Посеял в душах злое наваждение...
Вражды огонь и ныне не угас,
Крестовым осенен благословеньем.

Умом постигнуть это не дано –
Немало несуразного на свете.
Наветом очерненные давно,
Из века в век мы бродим по планете.

В мои лета безгрешен я вполне –
Не поддаюсь заманчивым искусам,
Но до сих пор в вину вменяют мне
Страдания распятого Иисуса.

* * *

Бывает, что ж... Кому какое дело?
Кто прав, кто нет – понять нам не дано.
Твоя звезда, дружище, догорела,
Лишь пепел сыплется на дно.

И пустота... Кому-то час родиться –
И загорится новая звезда.
Блеснула жизнь, как дальняя зарница,
Не оставляя в памяти следа.

* * *

Л X

Я в долгу перед другом, которого нет.
С ним не сесть мне за стол в час вечернего чая.
От него не услышу ни слова в ответ:
Только зуммер глухой на звонок отвечает.

Я в долгу перед теми, кого не любил
И кому поскупился на доброе слово.
Я в долгу перед теми, кого оскорбил
Без вины, сгоряча осуждая сурово.

Я в долгу перед Небом за каждый свой грех,
Но не стану тревожить я Господа всеу.
И за каждый упущенный в жизни успех
Пред собою самим и поныне в долгу я.

Но лишь перед тобой, кто на каждом шагу
Сохраняет любовь, – в неоплатном долгу.

Борис Черепашенец

ДВУЛИКИЙ

Петр Шабанов, коротконогий крепыш, полковник в отставке, руководил в оборонном НИИ отделом снабжения. Для этой роли он подходил идеально. Улыбчивый, открытый, он способен был установить контакты даже с глухонемыми. Теплым, непонятно почему, было его отношение ко мне. В нашей столовой он всегда с полным подносом в руках внимательно оглядывал зал и, завидя меня, устремлялся к моему столику. И если он был занят, подставлял дополнительный стул и, виновато улыбаясь, говорил: «Ничего, в тесноте, да не в обиде» и устраивался рядом. Петр был старше меня, многое в жизни повидал и охотно рассказывал о местах, где ему довелось служить, о людях, с которыми встречался, не стесняясь делился семейными неурядицами, а также об амурных неудачах и победах.

Мне с ним было интересно, и я дорожил нашими отношениями. Систематического образования Петр не получил и во многих вопросах не разбирался. Бывало, расскажешь ему что-либо элементарное, а он удивляется:

– Надо же, какая глубокая мысль. Это надо записать, пригодится в общении.

У него были большие ведомственные связи. И мы, сотрудники, частенько ими пользовались.

Петр был большим мастером пускать пыль в глаза. Достанет какой-нибудь анод или транзистор и выдает это за подвиг. Поэтому его служба второстепенная по существу, выглядела чуть ли не главной. Прошло время, и он был назначен заместителем начальника НИИ по общим вопросам. Обзавелся шикарным кабинетом, персональной черной «Волгой», батареей телефонов, длинноногой блондинкой-секретаршей, и характер его резко изменился. Меня, как и других, он перестал замечать. При случайных встречах он здоровался, едва наклонив голову и, конечно, без рукопожатий. Всякие попытки попасть к нему на прием встречали сопротивление секретарши. Она спиной заслоняла дверь в его кабинет, выпятив свои грудки, как малокалиберные пушечки, неприступная, как берлинская стена. Петр в телефонную трубку официально, на «вы» цедил сквозь зубы:

– Извините, я не могу вас принять, масса важных дел, запишитесь у секретаря.

Выслушав посетителя, он менторским тоном, с видимым удовольствием поучал:

– Когда вы, наконец, научитесь использовать горизонтальные связи, договариваться со смежными подразделениями. Не тащите всякую чепуху наверх, к руководству. Что у нас, по-вашему, поважней дел нет?

Проходя мимо сотрудников, Петр смотрел на них, как на невидимок, сияясь

вроде бы взглядеться во что-то за их спиной.

По неизвестной никому причине через год он был отстранен от своей должности. Возвратился в отдел снабжения и снова стал рубахой-парнем, общительным и доступным. Он словно бы вернулся с карнавала и сбросил с себя надоевшую ему маску. И снова стал искать дружбы со мной. За время работы на высоком посту он сумел завязать дружеские отношения с руководителями театров и теперь мог достать билеты на некоторые престижные представления.

Все, что происходило дальше, походило на то, о чем печатают в рубрике «Нарочно не придумаешь»...

Через непродолжительное время Петр вновь был возвращен на должность заместителя начальника НИИ. И повторилась та же картина: телефоны, кабинет, секретарша, на крыше машины «мигалка». Теперь он разъезжал по Москве как правительственный чиновник крупного ранга, не соблюдая правила дорожного движения..

Но судьба изменчива. Через год его снова сняли с поста, но теперь уже определив на должность инженера по соцсоревнованию. Во второй раз весь гонор его как ветром сдуло. С лживой улыбкой, виновато опустив глаза, он пришел искать мою дружбу и участие.

– Знаешь, Петюня, если бы было звание «Заслуженный хамелеон», ты был бы вполне его достоин, – ответил я.

Александр и Лев Шаргородские

Александр и Лев Шаргородские – юмористы. И даже родственники. А если покопаться – братья. На двоих им немногим за сто, у них две жены, четверо детей и одна борода. Всю жизнь они прожили в Петербурге (бывшем Ленинграде), где писали, печатались, ставились в театрах и периодически запрещались. Из 15 написанных пьес 8 были сняты со сцены в день премьеры, из 500 рассказов – 400 были «отредактированы» до неузнаваемости, а из десятка киносценариев после цензуры они узнали только один. Более тридцати лет они писали вдвоем – веселее было и работать и сидеть, если бы пришлось. К счастью, последняя причина отпала – в конце семидесятых поселились в Женеве. Многолетние занятия юмором принесли им три международных премии – последняя из которых, парижская, – и гораздо большее количество хлопот. Хочешь смеяться – наплачешься.

Им очень приятно работать на Западе, где смех всегда свободен и где свобода никогда не бывает смешной.

ЯНКЕЛЬ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА

Итак, яичница «Лобачевский» – пять шекелей, кекс «Аксиома» – три шекеля, штрудл «Бином Ньютона» – всего двенадцать. Да, друг мой, я считаю на калькуляторе, такие простые цифры считаю на калькуляторе, с некоторых пор, друг мой, с некоторых пор. И вы интересуетесь, почему кафе мое называется «У Эвклида»? Нет, это не моя фамилия, моя фамилия Мозес, Лео Мозес, и, если хотите, у меня был невероятный математический дар. Я должен был стать Эвклидом. Старик Бернштейн так и сказал: «Если ты не умрешь от голода, клигер, ты станешь великим математиком». Как видите, от голода я не умер, но и Эвклидом не стал. Вас, наверное, интересует – почему? Выпейте напиток «Теорема», в нем полно витаминов, и я вам расскажу – почему. Я не стал великим математиком из-за пышной булки, друг мой. Когда я начинаю считать, высокая пышная булка растет в моей голове и мешает мне думать. Высокая, как дом, и белая, как белый лебедь на белом снегу. Вы когда-нибудь видели такого? Я видел, в войну, в зоопарке города Ленинграда, где белые ночи с мая по июль. В такую ночь мы плыли с папой по Неве с островов, и он сказал мне:

– Лео, ты увидишь небо в алмазах.

Он вскоре ушел на фронт, мой папа, и я увидел небо в аэростатах и самолетах, с которых падали бомбы. Мама уходила на завод, и я оставался один, если не считать старика Бернштейна, который жил в комнате в противоположном конце коридора. Он был нашим родственником, старик Бернштейн. Он был нашим родственником и очень любил математику. Математику и белую булку. Бог знает, откуда он доставал ее в блокадном Ленинграде. В ноябре сорок первого. Он был блатной старик, Бернштейн, но что можно достать по блату в голод – дохлую мышь?

Это был небольшой период в нашей истории, когда по блату ничего нельзя было достать.

По этому вопросу у меня существовало несколько теорий. По одной из них, старику Бернштейну кто-то позвонил и сказал, что скоро начнется война. Возможно, сам Сталин – старик был величественен, с огромной бородой, в странной шапке, такому мог звякнуть и генералиссимус. Сталин позвонил и сказал: – Бернштейн? Двадцать второго, в четыре утра.

Всем было известно, что Сталин знал все – когда наступит социализм, коммунизм и, конечно же, война. Впрочем, позднее это подтвердилось – я имею в виду войну. Старик схватил мешки и бросился в магазины за белой булкой. Он всегда куда-то бегал с мешками.

По другой теории, Бернштейн откуда-то узнал, что немцы должны бомбить Бадаевские склады.

Вряд ли об этом ему сообщили немцы, скорее опять же товарищ Сталин. Опять раздался звонок и глухой грузинский голос шепотом произнес:

– Восьмого октября, шестнадцать сорок. Будьте у склада, Бернштейн.

И старик сразу же после бомбежки унес на своих округлых плечах несколько мешков с булочками.

Когда б я ни заходил к старику Бернштейну – он всегда жевал. Друг мой, я прожил нелегкую жизнь, но ничего меня так не бесит, как вид жующего булку человека. Вы можете есть спокойно – на яичницу у меня никакой реакции.

Я смотрел на старика Бернштейна, как на инопланетянина. Инопланетянин Бернштейн. Я смотрел – и слюна струилась у меня, и я тихо глотал ее.

– Не пускай слюну, – говорил старик, – это не эстетично. Ты знаешь, что такое эстетично? – Нет, – говорил я.

– Эстетично, клигер, это когда съедаешь конфету и губы у тебя чистые. Для этого губы надо вытереть рукавом. Он показал как.

– Когда-то я ел много конфет, – тяжело вздыхал он, – но у меня всегда были чистые губы. И сейчас, когда я ем эту дрекише булку, у меня нигде нет крошек – ни на коленях, ни на бороде. – Посмотри, есть?

– Нет, – говорил я.

– Ну, вот видишь.

Бернштейн всегда встречал меня радостно. Он не любил есть в одиночестве.

– Трапеза, – говорил он, – должна быть разделена, иначе ничего в рот не лезет.

Он разворачивал вощенную бумагу, доставал оттуда огромный кусок, клал его на колени и начинал молиться. Он всегда молился перед едой. Если б у меня была такая булка, я б не мог терпеть, я б сначала ее съел, разом, а потом уже помолился. А старик молился сначала.

– Амойце лехем мин урец, – торжественно и медленно произносил он и поворачивался ко мне, – «хлеб растет в земле», повтори!

– Хлеб растет в земле, – повторял я – и старик клал в мой рот первый кусочек, – мм! Амайхл! – говорил он.

Я знал, где растет хлеб, но я не знал где его взять. И тут я подумал, что у меня нет хлеба, потому что я не молюсь. Я пошел к себе и начал молиться. Я стоял перед нашим окном, заклеенным крест-накрест, падал мокрый снег, стучал метроном, и под звук его я молился:

– Амойце лехем мин урец, – повторял я. – Амойце лехем мин урец, – заклинающая я и поднимал глаза к небу. Но хлеб не падал. Падал мокрый снег и бомбы, от которых мы уже не прятались.

– Амойце лехем мин урец. – произносил я загадочные слова и плакал, но хлеба не прибавлялось.

Оставался все тот же паек. Те же 125 граммов в день, которые я резал осторожно на ломтики острым ножом, который подарил мне папа, острым, как бритва, чтоб не было крошек. Но это не удавалось. Крошки, мелкие, как манная крупа, и покрупнее, как гречневая, катились по столу. Я бросался за ними, догонял, ловил и совал в рот. Ни одна крошка не убежала от меня. Потом я съедал ломтики – их было два. И они были тонкие, тоньше счета, который я вам подам. Это были не два ломтика – две далекие звезды, они светили мне в темноте той ночи. Когда я смотрю на наше израильское небо, я часто вместо звезд вижу те ломтики, друг мой. Они светят мне в белизне нашего дня. Я ел долго, с остановками, маленькими кусочками. Потом я читал.

Чтение помогало забыть о голоде. Может, поэтому я рано выучился читать. Я раскрывал «Гекльберри Финна», моего любимого Гекльберри, и всегда на том месте, где он грыз яблоко.

Он грыз яблоко, мой Гекльберри, и всегда давал мне половину, и мы жевали вместе. И брызги от него летели до Миссисипи. Я открывал «Принца и нищего», и всегда книга открывалась на первом королевском обеде Тома. Мы обедали вместе – десерт, репа с салатом, и потом Том набивал себе карманы орехами и набивал карманы мне. Мы громко шелкали их, шелкали и шелкали, и я захлопывал книгу и глотал слюну. И шел к рыцарям Круглого стола, и янки при дворе короля Артура потчевали меня вересковым медом и оленьиной. Потом я захопы-

вал книгу и брел к старику Бернштейну. Я не мог долго быть один. И потом, в начале войны я еще боялся крыс.

– Что ты читал, клигер? – спрашивал старик.

– «Янки при дворе короля Артура», – отвечал я.

Старик Бернштейн довольно гладил бороду.

– Да, мы, евреи, повсюду, где нас только нет.

– Почему? – не понимал я.

– Ты же сам сказал: «Янкель при дворе короля Артура». Что бы делали все эти короли без Янкелей?..

Очевидно, на почве голода обострились мои математические способности. До войны меня показывали профессору Иоффе, в институте на берегу Невы, и профессор Иоффе так и сказал: «Ты, Лео, вундеркинд. Когда я умру, ты заменишь меня! Но тебе еще долго придется ждать».

И он засмеялся. И мама рассмеялась, и папа, мы все тогда много смеялись, это я помню.

Он умер на третий месяц блокады, профессор Иоффе, а я стал считать еще лучше, я невероятно быстро считал в уме. И я считал не профессору, а старику Бернштейну.

– А скажи-ка мне, клигер, – говорил он, засовывая в красный рот большой кусок белой булки, – сколько будет, сколько будет 37 разделить, нет, умножить, – он закатывал глаза, будто произносил молитву, – на, ну, скажем, на 24. Только быстро, не задумываясь.

– 888, – отвечал я.

Старик медленно откладывал булку, доставал из пиджака замызганную бумагу, обломок химического карандаша и начинал перемножать столбиком.

– А, а, а вот и неверно – 864!

Я смотрел расчет.

– У вас тут ошибка, – говорил я.

– Где это у меня ошибка, – кряхтел он, – где это ошибка?

– Вот здесь. Вы неправильно сносите.

– Я неправильно сношу?! Я – неправильно сношу?! Да я кончил школу до революции, а ты в нее еще не пошел. До революции, мой дорогой, дважды два было четыре, а сегодня – «как изволите, товарищ комиссар». Да, революция убила не только мои конфеты, она убила и математику.

– Возможно, – соглашался я, – и тем не менее здесь ошибка.

– Где, где?! – почти орал Бернштейн, – четыре сносим, семь в уме!

– Пять в уме, – говорил я.

– Семь! – орал он.

– Пять, посмотрите.

– У тебя в голове крутятся пятилетки. Тебя оболванили, где пять, когда, да, клигер, ты прав, старик ошибся, здесь пять, а не семь, конечно, но семь – это

священная цифра, семисвечник, семь дней недели, ну, конечно, пять! Нет! ты клигер! Ты станешь великим математиком, если не умрешь с голоду. А ну-ка, извлеки мне корень третьей степени из 349. Я извлекал, умножал, делил, возводил, а его рот, беззубый рот жевал, и крошки падали на длинную бороду.

Однажды он оторвал меня от моего «Гекльберри» и пригласил к себе. На столе лежала булка и масло. Я отвернулся, чтобы проглотить слюну.

– Клигер, – начал он, – возможно тебе твоя мама рассказывала, что до революции у меня была шоколадная фабрика. Эти подонки экспроприировали ее. Все – шоколад. Карамель. Конфеты. Обертку. Все экспроприировали собаки, в незабываемом 1918-м! У меня покупал конфеты весь мир, их жевали в Сиднее, Чили. Буэнос-Айресе! Пятая Авеню и Елисейские поля жевали мой «Санкт-Петербург». Дети Бруклина и Бронкса жевали мою «Белочку» – конфету в честь моей жены, твоей тети, и, надо сказать, она была такая же нежная, как моя жена. И через год после этой дрекише революции, после этой дрекише экспроприации эти конфеты уже не жевал никто, даже в Кременчуге не жевали, даже в Африке! Вся Пятая Авеню плевалась от «Белочки».

Белочка стала ихней. И не только конфета – моя жена тоже. Моя жена, твоя тетя, ушла к комиссару. Белочка кончилась. Только один раз я ее попробовал.

– Тетю? – спросил я.

– Тьфу! Конфету! Я плююсь до сих пор! Садись, клигер, мне нужна твоя помощь. Садись и настрой голову. Каждый год фабрика моя приносила мне полмиллиона чистой прибыли. Скажи, сколько денег я потерял с апреля 18-го по ноябрь 41-го?

– 18900700 рублей, – сказал я.

– Бог мой, что я слышу. 18900700! Мне плохо. Бог мой! Это с учетом сложных процентов?

– С учетом, – ответил я.

Старик Бернштейн засунул кусок булки с маслом в рот и нервно зашагал по комнате.

– Собаки! Всем бы им бороды повыдергивать. Курце ерикe. Усы поотрывать. Хазейрем!

– Перед самой этой революцией, чтоб она скисла, я придумал новую конфету – «Петроград» – сказка! – мед, орехи, какао! Мехае! Она должна была пойти по три копейки за штуку! 10 миллионов в год. Сколько это к ноябрю 41-го, а, сколько, клигер, сколько?!

– 32 миллиона рублей!

– Ой вей, мне плохо, ой вей! Чуму на их голову, чуму на их дом! 32 миллиона! Вот во что мне обошелся ваш Ленинград! Чтоб он сторел. И плюс ко всему я должен голодать.

Он зло пихал в рот огромный кусок.

– Чтоб вы все подавились! Сволочес! Вместо всего я должен жевать эту заразу.

– Может вам ее не жевать? – сказал я.

– Вус? – не понял он.

– В знак протеста, – сказала я.

– Ты хочешь, чтобы я умер с голоду, – сказал старик Бернштейн, – противный мальчишка! Иди к себе. Я должен отдохнуть, ты меня расстроил – 32 миллиона! Иди, иди, мне ничего не хочется, ничего, мне даже не хочется булки, сволочес! 32 миллиона! Мне плохо. У меня спазмы, у меня голова, а я должен дожить до момента, когда получу свою фабрику назад. Свои обертки, карамель, «Санкт-Петербург», «Белочку»!

– Тетю? – спросил я.

– Вон отсюда, – буркнул старик Бернштейн.

И я пошел к своему «Янкелю при дворе короля Артура». Да, друг мой. Я считаю на калькуляторе, такие простые цифры считаю на калькуляторе, друг мой, потому что, когда я считаю в уме, в голове моей мутится и перед глазами начинает плавать огромная булка, белая, как белый лебедь на белом снегу, и течет слюна. Согласитесь, это не эстетично.

Итак, яичница «Лобачевский» – пять шекелей, кекс «Аксиома» – три шекеля, штрудл «Бином Ньютона» – четыре, напиток «Теорема» – всего пятнадцать. И простите, что я вам не подал булки, у меня ее нет, как в китайских ресторанах. Возможно, у них была когда-то своя китайская блокада, китайский старик Бернштейн.

Клигер (идиш) – умница. Дрекише (идиш) – дерьмовая. Амахайл (идиш) – блюдо.

Курце ерике (идиш) – молокососы. Хазейрим (идиш) – свиньи. Мехас (идиш) – прекрасно.

ФУТБОЛ МОЕГО ДЕТСТВА

Воспоминания детства весьма избирательны. Что-то стерлось из памяти полностью, что-то расплывчато в ней сбереглось, а что-то и сохранилось выпуклым и ярким. Вот и лица моих друзей первых лет учебы в школе вспоминаются очень четко.

В тот памятный 1939 год накануне начала войны нам было по одиннадцать – двенадцать лет. Учились мы в пятом классе польской школы в небольшом западно-украинском, тогда входившем в состав Польши, городе и объединяло нас то, что все пятеро были евреями. Эта пятерка и составила нестандартную по числу игроков, но вполне успешную футбольную команду. Стадионом служил лужок на окраине, ворота – помечены двумя кирпичами. Были у нас и болельщики: две девчонки лет восьми или около того, которые пасли коз неподалеку. «Болели» они, правда, как-то вяло, отвлекаясь часто на девчоночьи игры или на свои прямые обязанности по наблюдению за козами. Матч длился до тех пор, пока кто-то из наших мам не прерывал его и не загонял разгоряченных футболистов домой. Все как у любых мальчишек. Еще первоклашками мы почувствовали, что отличаемся от остальных. Одноклассники с первых школьных перемен пытались нам внушить некрепкими еще кулачками, что быть «жидом» позорно. Вступать в «харцеры» – польские бой-скауты нам тоже не предлагали. Впрочем, справедливости ради следует сказать, что в третьем или четвертом классе никакой вражды между нами и одноклассниками – поляками заметить было уже нельзя. Класс выступал единой ватагой в драках и играх с параллельным классом. В футбол после уроков мы все же играли всегда отдельной командой и очень редко заходили к польским одноклассникам домой, как и они к нам. Довольно типичные для того места и времени отношения. Впрочем, только ли для того времени?

Вратарем команды был Имек Циммерман: полный, рыхлый мальчишка. Он закрывал собой в воротах значительную часть пространства, что как-то компенсировало вялость его реакции. Циммерманы жили рядом с пожарным депо в собственном доме. Мама и папа Имека были такой же комплекции, как и их сын, и казалось, что для их дома вместо обычных дверей больше подошли бы ворота от соседнего пожарного депо. Из их уютного дворика было удобно наблюдать за тренировками пожарных. Особенно нас увлекало наблюдение за мытьем и выездкой единственной в пожарном хозяйстве лошади – неопикуемой красоты жеребца арабской породы, доставшегося пожарным в качестве приза на всепольских соревнованиях. Как нам рассказал Имек, к жеребцу иногда приводили кобыл. По мнению Имека, местные захудалые клячи были просто недостойны столь

великолепного жениха. Мы очень сожалели, что не довелось нам увидеть процесс лошадиного ухаживания, о котором Ирек очень красочно рассказывал. Все лестнично-бочковое хозяйство дело было переведено на автомобильную тягу и завораживало блеском никелированных деталей и нравившимся нам запахом бензина. Ирек гордился успехами своих соседей. Порой казалось, что жеребец – награда, полученная им лично. Кроме такого выдающего соседства, мы ценили Ирека еще и за склонность поделиться ароматно пахнущим бутербродом с явно некошерной колбасой. Для него это было несомненным подвигом, так как о его аппетите ходили легенды. Кроме того, он прекрасно подражал повадкам нашей учительницы истории, удачно обыгрывая ее бесконечные поиски очков, и сочинил миниатюру, в которой она объяснялась в любви королю Ягайло, на что тот отвечал, что уже давно женат и очень занят войной с крестоносцами.

Левым крайним в команде был Ушер Каштан. Трудно заподозрить двенадцатилетнего мальчугана в сознательном прагматизме, но как ни крути, Ушер был закоренелым прагматиком. Мы ценили его манеру игры: без излишней суетливости, с крайне расчетливыми, неожиданными пасами, скупыми изящными финтами. Он считал, что футбол – занятие пустое, но в то же время настойчиво упражнялся с мячом. Он вообще все делал основательно. Любая наша затея, чего бы она ни касалась, вызывала скептический вопрос Ушера: «А что это нам даст?»

Домашние задания он готовил, в отличие от всех, заранее, за несколько дней. Расписание уроков, лежавшее у него дома на столе, очень аккуратно расчерченное, было снабжено какими-то только ему понятными значками, символами, стрелками. Его почерк был настолько четким и аккуратным, что мог служить образцом каллиграфии для первоклашек. Ушер, на зависть нам остальным, всегда располагал множеством каких-то блокнотиков, календариков различных размеров и что-то в них аккуратно записывал. Не было у него недостатка и во всевозможных вечных ручках, автоматических многоцветных карандашах, перочинных ножиках. Особенно гордился он дыроколом, которому не находил применения, разве что при его помощи фабриковал разноцветное конфетти, которое тоже достойного применения не имело. Прагматизм Ушера кончался, когда речь заходила о любимых им письменных принадлежностях. Он самозабвенно ими любовался. Что-то из своих канцелярских сокровищ он дарил изредка другим, хотя это давалось ему без душевных мук.

Семья Каштанов ютилась в маленькой арендуемой комнатке с еще меньшей кухонькой, с выходом на шумную привокзальную улицу. На ступеньках перед входом сидела, дожидаясь его из школы, обожавшая его и очень на него похожая маленькая сестричка, которая почтительно здоровалась со всеми прохожими, а также с пробегавшими собаками и кошками. Глаза у Ушера были голубыми и настолько уж светлыми, что казалось, будто сквозь них видно небо. Бывают у евреев такие глаза.

Правым крайним в нашей команде был Тодзик Вайтман. Самый низкорослый из нас, но самый быстрый и ловкий. На футбольном поле Тодзик был кудесником. Своей подвижностью он запутывал оборону противника, и порой казалось, что на том участке поля, где находится Тодзик, воздух закручивается в спираль, подымая вверх обрывки соломы,

кусочки бумаги и вообще все то, что застряло в траве еще с позапрошлого года.

Папа Тодзика был известным в городе врачом – венерологом. Их семья жила в собственном роскошном особняке, состоявшем из 17 комнат, во дворе стояло еще небольшое здание, где обитал садовник со своей женой. Зачем нужен был маленькой семье Вайтманов столь обширный особняк, мне и сейчас понять трудно. После войны в этом доме долго находился горком партии. Еще и сегодня там располагается дворец бракосочетаний в одной его половине и какие-то менее романтические многочисленные конторы – в другой.

К особняку примыкал сад, который посадил отец Тодзика. Росли и плодоносили там несвойственные нашим широтам персики, ренклоды, южные сорта винограда и какие-то совсем нам неизвестные фруктовые деревья. Все они на зиму закутывались в солому, в мороз их окуривали. Замечательно красивые и ароматные цветы росли между деревьями. В теплицах цвели экзотические растения, названия которых не запомнились, а запах, кажется, ощущается и сегодня. Ежегодно отец Тодзика угощал нас изумительными по вкусу яблоками – плодами карликовых яблонь, ветви которых простирались в верхушке от земли далеко от ствола, поддерживаемые толстой стальной проволокой. На каждом из этих деревьев росло всего несколько крупных плодов.

В доме была канализация, центральное отопление, телефон. Все редкости по тем временам. Был в доме и шикарный камин с узорчатой решеткой.

На третьем этаже в двух комнатах жил друг Тодзикиного отца, поляк, старый холостяк – судья гродского суда, не лишенный многочисленных странностей. Похоже, доктор Вайтман питал страсть не только к экзотическим растениям, друзей он тоже выбирал необычных.

Мы с Тодзиком тогда еще не усвоили законов этики, и Тодзик, в отсутствие пана судьи, читал дневник, который тот вел систематически. При моих посещениях, пока пан судья заседал в суде, наиболее интересные места из дневника зачитывались и мне. Некоторые «раритеты» оттуда помнятся и сейчас: «Сегодня все утреннее заседание был влюблен в панну Ядвигу. Какие у нее великолепные бедра! Плохо слушал прения стон. Вынес оправдательный приговор.» Причем тут бедра, мы тогда не совсем понимали, а панна Ядвига была, видимо, секретарем в суде. Или: «Ночь прошла спокойно, дважды вставал пописать».

Тодзик блистал редкой эрудицией. Еще бы: библиотека в их доме занимала целых три комнаты, два больших шкафа там были заполнены только детскими книгами. Кроме книг по медицине и садоводству, там были разнообразные книги на многих языках – многочисленные энциклопедии. Красочные переплеты поражали воображение, а иллюстрации из книг по венерологии уже начали привлекать наше заинтересованное внимание. Тодзик вместе с отцом владели редкой коллекцией почтовых марок. Благодаря этой коллекции мы узнали о существовании многих стран с экзотическими названиями и то, что Сан Марино – независимая страна, хоть и жителей там меньше, чем в нашем городке, а располагается она почему-то внутри Италии.

Поражало и все богатое убранство дома, и стерильная чистота в кабинете, где папа

Тодзика принимал больных, и диковинные приборы в лаборатории, примыкавшей к врачебному кабинету. Пациенты доктора Вайтмана, которых мы иногда встречали, отличались стремлением незаметно прошмыгнуть в приемную. О причинах такого их застенчивого поведения мы уже начинали догадываться. Тодзик был меньше всех нас ростом. Как-то он с сожалением сказал: «Вам хорошо, вас будут бабы любить, а маленьких они не любят...». Об этом ему доверительно поведала его старшая сестра.

Правый защитник нашей команды Бенья Шойб пришел в наш класс перед самой войной. Самый высокий и сильный из нас, он обладал пушечным ударом по мячу. В драках на школьном дворе ему не было равных. Правда, мы к тому времени повзрослели и дрались уже редко. Ой, как пригодился бы Бенья нам, евреям, в младших классах. У единственного из нас – Бени слышен был еврейский акцент. Дома у них говорили на идиш. Не совсем понятно, почему родители решили отдать его в польскую школу. В городе было несколько еврейских школ. Мы, остальные четверо, происходили из семей в значительной степени ассимилированных, в которых разговаривали по-польски. Он при ответе у доски мог случайно вставить слово на идиш, но в математике сильнее Бени ученика не было. Пренебрегая канонами педагогики, его «занял» как-то математик на урок в классе «а», когда туда должен был навеститься лан инспектор. Наверное, немного найдется мальчишек, которые бы жадно штудировали наперед именно учебник математики. От Бени пошло в классе увлечение шахматами. Случилась даже попытка сыграть партию во время урока. Будущим гроссмейстерам попало по рукам ливейкой. В польской школе «шадящие» телесные наказания были привычными. Труднее было выпросить конфискованную шахматную доску. Учитель математики, узнав о нашем увлечении, иногда играл с нами после уроков, пренебрегая обычной чопорностью польских учителей. Только с Беней он играл на равных, остальным предоставлял фору. За победу нам была обещана пятерка по математике без опроса. Ее как-то заработал Бенья. Он бы получил ее и без этого.

Такой была наша футбольная команда, в которой я был левым защитником.

Сейчас, спустя больше шестидесяти лет, рассказать об ее участниках могу только я один, эвакуированный 22 июня 1941 года вглубь России. Осенью того же года остальных членов команды расстреляли фашисты. Мальчики покоятся неподалеку от нашего футбольного поля в большой общей могиле.

До сих пор я испытываю не согласующееся с какой-либо логикой чувство вины перед ними.

Октябрь 2002

Ульяна Шереметьева

* * *

Затуманило, заморосило,
Словно осени прошлой дожди
Чуть косящей походкой унылой
В летний сад прогуляться пришли.
То чертили, то снова смывали
Тайных знаков рисунок косой –
Может юность свою вспоминали,
Отшумевшую майской грозой,
Той, где страсти лишь голосу внемля
После грома признаний в любви,
На теплом истомленную землю
Водопадом блаженства легли.

Отчего, и сама я не знаю,
Заволочила сердце печаль?
Видно, вместе с дождем вспоминаю
Все, что дорого мне, но не жаль ...

* * *

Вечер. Безысходно и пустынно.
Темень в душу лезет, словно в окна.
Чей-то голос в ноте длинной-длинной
Замер высоко и одиноко.

Осени оскомины в гортани.
Тяжесть неба плечи мне сутулит.
Дождь надеждой робкой не обманет,
И прошепчут губы: «Будь, что будет ..

* * *

Воеет ветер гулко и надрывно –
Старая повадка февраля,
И застыли в беге непрерывном
Кони на листке календаря.

Гривы их, что снежные метели,
Из ноздрей клубится белый пар –
Чудо-кони быстро пролетели,
На скаку к весне вращая шар.

Ночь шумит угрюмо и тревожно,
А наутро встанет тишина.
Луч скользнет ладонью осторожно
По плечу березы у окна ...

* * *

Тишину на подрамник окна
Натянула заботливо ночь,
Словно знала, что бурь я полна,
Что хотят они вырваться прочь.
Но вбирает их гнев тишина –
Смысл ее недоступен и прост,
И стою я у рамы окна
И, вращая в магический холст
Лбом, и взглядом, и жаркостью рук,
Вижу – там, в глубине, у костра,
Заклиная страстей моих круг,
Заждалась меня Муза-сестра.

КУККА

(Глава из повести «Шлима»)

Ветер гнал над степью капли дождя вперемешку с ледяной крупой. Он цеплялся за вершины редких деревьев, соломенные крыши и вырывал из стогов охапки сена. Запутавшись в сухих камышах, затихал, словно набирался сил. И снова вырывался на степное раздолье, ошалелым псом вгрызаясь в людской поток, подгоняемый охраной. Ветер срывал шапки, платки и пытался унести все то, что еще не успели забрать конвоиры. Он покрывал спины ледяными корками, забирался под одежду, вымораживая душу. Сгорбленные фигуры, заштрихованные сеткой дождя, казались самым отчаянием, бредущим в осенней мороси.

Яков Фишман с трудом передвигался в хвосте колонны, изо всех сил пытаясь не отставать. Под тяжестью тела костыли протыкали дорожную хлябь, выворачивая жирную глину, она тяжелыми комьями липла к беспомощным ногам. Его дыхание было частым и хриплым. Он терял силы и знал, чем это кончится. Всю дорогу копившаяся ненависть вдруг вспыхнула и захлестнула его яростной волной. Яков резко повернулся и двинулся на конвоиров. Grimаса боли и отвращения исказила его лицо. «Не боюсь вас, холуйские морды, — закричал он, — плюю, плюю на вас! Ненавижу...» Голос маленького застенчивого Фишмана гремел над степью, и этот, только что беспомощный человек казался огромным и величественным. Раздался сухой треск, словно надломилась сухая ветка. Яков сделал шаг, замер и рухнул в грязь. Его глаза еще мгновение продолжали ненавидеть. Конвоир передернул затвор, и колонна двинулась дальше.

Кукку Ратковскую не сгибал ни ветер, ни страх, ни предрешенность расстрельной судьбы. Выпрямившись, она твердо ступала по раскисшей дороге. Седые волосы выбились из-под платка и ледяными сосульками свисали за спину. При каждом движении они издавали тихий звон, и он казался ей погребальным. Старая женщина напряженно всматривалась вдаль, словно пытаясь увидеть того, кому молилась всю жизнь. Она молилась и сейчас, убеждая Бога переложить все грехи детей и внуков на ее голову, обещая безропотно принять любое наказание, какое ему, Богу, будет угодно ей назначить. Кукка не заметила, как людская река влилась в огороженное забором пространство, и перестала молиться только после окрика: Стий!

Их остановили у выбеленной известью хаты. Прибитые над крыльцом большие

жирные буквы образовали надпись: «Дом отдыха доярок». Буквы от времени и дождей покосились, словно хотели спрыгнуть со стены и укрыться от непогоды. Намалеванная с одной стороны надпись коровья голова с опущенными рогами печально смотрела на продрогших людей, а изображенная с другой стороны молодуха с подойником в руках, напротив, радостно улыбалась. Дождь усилился. С камышовой крыши по неровной стене струилась вода, покрывая прозрачной вуалью творение местного художника. И тогда казалось, что доярка все время подмигивает измученным людям, а коровья морда морщится, словно хочет чихнуть, из ее глаз текут черные слезы.

На крыльцо вышел маленький человек с красным обрюзгшим лицом, в дамском плюшевом полупальто, накинутом на плечи поверх ватника, подпоясанный солдатским ремнем. По хозяйски оглядев узников, он шмыгнув носом и обтер его о шалевый воротник жакета: «Жида... слухай сюды, – крикнул он неожиданно зычным басом, – ото йдїть у ти вельки хаты, – он показал рукой в сторону коровников, – та щоб було тыхо, чуеть, бо будз сегодня увечори тэ, що мае бутэ завтра вранци». Последнюю часть фразы охранник произнес, всем телом повернувшись к немецкому офицеру, который появился на крыльце. Увидев его, Кукка обомлела и не могла оторвать глаз от белокурого, голубоглазого военного с маленькой родинкой у носа. Затянутый в серую шинель, в начищенных сапогах, кожаных перчатках, он казался выходцем из другого мира на фоне грязной плачущей стены, рядом с нелепо одетым человеком в дамском полупальто и солдатских обмотках. Кукка продолжала в упор рассматривать офицера.

Взгляды их встретились. Он отвел глаза и посмотрел на маленькую девочку, над головой которой Кукка держала кусок клеенки. Из-под капора ребенка выбивались золотистые кудряшки, а глаза были такими же голубыми, как у офицера. «Боже, как она похожа на Анхен», – подумал он и тыльной стороной ладони поддел козырек фуражки, слегка сдвинув ее к затылку.

Старая Кукка не забыла ни взгляд голубых глаз, ни маленькую родинку у носа, ни манеру сдвигать фуражку к затылку при сильном волнении. Перед ней стоял Герман Зиберт.

* * *

В коровнике, длинном приземистом здании гуляли сквозняки и запах навоза. Вдоль стен на полу сидели люди. Они напряженно всматривались в темную пустоту небольших оконных проемов под потолком, пытаясь уловить приближение рассвета. Люди знали, что их ждет утром, но все-таки надежда теплилась в каждом из них. Когда надежда отступала, пружина страха распрямлялась, и они начинали метаться по замкнутому пространству, причитать, препираться с охраной. Некоторые, не выдержав напряжения, теряли ощущение реальности, плохо понимая, где они находятся и что происходит. Они замыкались в своем, только им ведомом мире и вели себя так, словно в коровнике находились одни. Костюмер оперного театра степенно вышагивал по загону для телят,

гримасничая, требовал подать шубу. Затем, сложив ладони рупором, продекламировал: Паду ли я стрелой пронзенный, иль мимо пролетит она?

– Думаю, не пролетит. Не сомневайтесь, – «успокоил» его человек в очках с толстыми стеклами, просунув голову между жердями изгороди.

Рядом с Куккой у оконного проема, заглядывая в темное небо, стоял высокий, худой человек в синем берете и пенсне. Двумя пальцами он то снимал, то водружал их на переносицу:

– Ну, что бездельник? – фальшето́м взвизгивал он. – Там, наверху не дует, навозом не воняет? – он прислушался и продолжал, – не перебивай, старик! Ага, тебе нравятся наши детки. И черненькие, и беленькие, и рыжие, согласен, хороши. Придется попотеть, бездельник! Предстоит тяжелая работа – объяснить родителям, за что убивают невинных.

– Бог знает, что делает, и не нам его учить, – возмутилась Кукка.

– Молчать! – заорал он. – Не мешай говорить с никчемным старикашкой!

Он дернул головой. Пенсне подпрыгнуло, слетело с носа и повисло на шнурке. Кукка с жалостью смотрела на него. Человек съежился, согнулся, и, казалось, стал меньше ростом. Закрыв лицо руками, он заплакал и побрел к другому проему.

* * *

Кукка сидела на деревянном настиле коровника, облокотившись спиной о ясли. Детские носочки, которые она сушила на своем теле, не давали согреться. Рядом сидела Шлима. Она смотрела на своих дочерей и беззвучно плакала. «Не плачь дочка. Значит так угодно Богу», – сказала Кукка и замолчала. Она закрыла глаза, пытаясь молиться, но перед ней все время возникало лицо немецкого офицера. «Нет, нет! Этого не может быть! Не может быть», – шептали ее губы. Она редко вспоминала о тайне, которую хранила на самом дне души. Прошла целая жизнь, и порой казалось, что ничего и вовсе не было. Но сегодня встреча с офицером вытащила из тайников ее памяти события далекой молодости. Мысли о них, казалось, обрели звук, и их слышат все вокруг. Она испугано осмотрелась. Убедившись, что никто не обращает на нее внимания, а дочь задремала, с облегчением вздохнула. Они теперь мало разговаривали – мать и дочь. Кукка старалась не встречаться с ней взглядом, боясь увидеть то, о чем обе постоянно думали. Если бы она, мать, тогда на самом пороге порта не вернулась домой, а с ней Шлима с детьми, судьба их сложилась бы по-другому. От сознания своей вины старой женщине было совсем худо, но встреча с немецким офицером дала ей надежду, и она решилась.

ПУБЛИЦИСТИКА

К.Абрагам
Э.Грабер
Г.Ляховицкая
М.Шейнбаум
Д.Шимановский
Д.Яновский

Карл Абрагам

БАВАРСКИЙ КВАРТАЛ

Скоро в Берлине у Бранденбургских ворот поставят памятник жертвам Холокоста. Проект памятника вызвал множество нареканий как со стороны отдельных граждан, так и со стороны некоторых официальных лиц. Но как бы то ни было, дело сделано: проект одобрен парламентом страны; более того, состоялась символическая закладка фундамента этого памятника. С чувством растущей тревоги думаю я о будущем этого мемориала:

я отчетливо вижу перед собой 2700 памятных плит, занимающих по площади целый гектар, оставляющих впечатление скорее кладбища, а не мемориала;

я отчетливо вижу днем и ночью в самом центре Берлина вооруженных автоматами полицейских, усиленных стоящими поодаль бронетранспортерами с водометами, предназначенными для охраны мемориала;

я отчетливо вижу бритоголовых молодчиков в кованых ботинках с высокой шнуровкой, устраивающих шашаб у этого святого места;

я отчетливо вижу очередное сообщение в газете о том, что кто-то опять оставил на одной из памятных плит фашистскую свастику;

я отчетливо слышу голоса замученных евреев: «Люди, опомнитесь, что вы делаете?»

И мне хочется спросить депутатов Бундестага: «Зачем все это? Когда вы, народные избранники, голосовали за проект этого памятника, вы думали о возможных последствиях такого решения?»

Нет, я не против Главного мемориала жертвам Холокоста в столице, но не в таком виде, как это показалось архитектору П. Эйзенману. Говоря о Главном мемориале, я не забываю думать о других памятниках Берлина, больших и маленьких, так или иначе связанных с жертвами Катастрофы. Об одном из них, скромном, но впечатляющем, о котором даже не каждый коренной житель города знает, я и хотел бы рассказать.

Садитесь на седьмую линию берлинской подземки, сойдите на остановке «Байришер плац» и поднимитесь наверх. А теперь пройдите по тихим тенистым улочкам этого района, в котором до войны жило много евреев и который был известен как «Баварский квартал». Идите неспешно, поднимите чуть голову, и вы увидите на фонарных столбах небольшие памятные таблички, которые мгновенно перенесут вас из лучезарного «сегодня» в Берлин времен фашистской диктатуры. На этих табличках приведены распоряжения гитлеровских властей в отношении берлинских евреев. Почитайте их и вы поразитесь, с каким тщанием и размахом нацисты организовали вначале травлю, а затем и уничтожение немецких евреев.*

Оставляя эти таблички с надписями без комментариев, я расположил их в хроноло-

гической последовательности и сопоставил с наиболее позорными фактами из истории третьего рейха. Прочтите эти надписи, и на вас пахнет могильным холодом.

Все эти установления, запреты и приказы до 1938 года печатались в газете «Еврейское обозрение», а после этого – в газете «Еврейский вестник», которая просуществовала до ноября 1942 года

Год 1933

30.01.33 - приход Гитлера к власти

28.02.33 - поджог Рейхстага

Евреям-адвокатам и евреям-нотариусам города Берлина ведение юридических дел впредь запрещено.

Начиная с 1 апреля 1933 года больничные кассы счета за лечение у врачей-евреев не оплачивают.

Всем окружным ведомствам предлагается преподавателей-евреев из государственных школ немедленно уволить.

Еврей-чиновники госучреждений подлежат увольнению.

Пользование пляжем на озере Ванзее евреям запрещено.

Генетика и расовая теория вводятся во всех школах как обязательный предмет.

Год 1934

Запрет на профессию для артисток и артистов еврейского происхождения

Год 1935

15.09.35 приняты «Нюрнбергские законы», лишившие евреев гражданских прав

Для писателей-евреев любая литературная деятельность подлежит запрету.

Запрет на профессию для евреев-музыкантов.

Заключение брака и внебрачные связи между немцами и евреями наказываются каторжной тюрьмой. Браки, заключенные в нарушении этого закона, считаются недействительными.

Год 1936

Ветеринарным врачам-евреям запрещено заниматься врачебной практикой.

Журналисты и их супруги должны доказать свое арийское происхождение, начиная с 1800 года.

При решении вопроса о расовой принадлежности крещение евреев и переход их в христианство значения не имеют.

Год 1937

Почтовые чиновники, женатые на еврейках, отправляются в отставку. Запрет на защиту диссертаций евреями.

Год 1938

09.11.38 - еврейский погром, вошедший в историю как «Хрустальная ночь»

Евреи не имеют права заниматься врачебной практикой.

Дополнительно к своему имени еврей должен добавлять имя «Израиль», а еврейка - «Сара».

Посещение евреями театров, кинотеатров и концертов запрещено.

Детям-евреям запрещено посещать государственные школы.

Посещение евреями определенных районов Берлина запрещено.

Детям арийского и неарийского происхождения играть друг с другом запрещено.

Водительские права евреев считаются недействительными.

Запрет на профессию для евреек акушеров.

Год 1939

01.09.39 - начало Второй мировой войны.

Запрет на все виды профессий для евреев.

Еврейские культовые учреждения должны сами устранять следы разрушения синагог. Восстановление их запрещено.

Выдача евреям карточек для получения одежды прекращается.

Евреям запрещено покидать свои квартиры после 8 часов вечера.

Евреи, имеющие украшения, изделия из золота, серебра, платины и жемчуга, обязаны их сдать.

Год 1940

Июнь 1940 года - создание концлагеря в Освенциме

Телефоны евреев подлежат отключению.

Евреи могут покупать продукты питания только между четырьмя и пятью часами пополудни.

Год 1941

Все евреи в обязательном порядке привлекаются к принудительным работам

22.06.41 - нападение Германии на СССР

18.10.41 - начало массовой депортации берлинских евреев.

Мыло и крем для бритья евреям продавать запрещено.

Все евреи старше 6 лет должны на одежде носить шестиконечную звезду и надпись «Jude».

Запрет на эмиграцию евреев.

Год 1942

О чем думали евреи, покидавшие свою страну навсегда? Вот только две записки, оставленные несчастными, помеченные 16 января 1942 годом:

*«Пудреницу я оставляю тебе как маленькое напоминание о себе. Пользуйся ею чаще, тогда ты будешь каждый раз вспоминать меня. Ваша глубоко опечаленная Эльза Штерн»
«Вот и все... завтра я отправляюсь в дорогу, и это меня, конечно, глубоко ранит. Я буду тебе писать». Подписи нет.*

Обреченные знали, что депортация ничего хорошего им не сулит, но они еще не догадывались, что их увозят, чтобы убить. Они еще на что-то надеялись.

20.01.42 - Ванзейская конференция, посвященная
«Окончательному решению еврейского вопроса»

Принудительная сдача евреями шуб и шерстяных вещей.

Булочные и кондитерские обязаны вывесить объявление, запрещающее продажу евреям кондитерских изделий.

Евреи не имеют право покупать газеты и журналы.

Квартиры еврейских семей должны быть в принудительном порядке помечены шестиконечной звездой.

Евреям запрещено содержать домашних животных.

Сигареты и сигары продавать евреям запрещено.

Евреи не имеют права на получение яиц.

Свежее молоко евреям отпускать запрещено.

11.07.42 - начало депортации берлинских евреев в Освенцим

Отпуск евреям мяса, колбасных изделий и других продуктов по карточкам прекращается.

Продажа книг евреям запрещена.

После этого других распоряжений, ущемляющих права и достоинство берлинских евреев, в общественных местах города больше не появлялось.

Вместо эпилога

27.01.45 – освобождение советскими войсками Освенцима
Распоряжение имперского министерства экономики от 16.02.45:

Архивные документы, свидетельствующие о преследовании евреев, подлежат уничтожению.

Для справки: к осени 1941 года в Берлине оставалось 73 тысячи евреев; из них войну пережили шесть тысяч.

Литература:

- 1. R. Stih & F. Schnock Orte des Erinnerns, Haude & Spenersche Verlagsbuchhandlung GmbH Berlin 24 S. 2002**
- 2. J. Walk (Herausgeber) Das Sonderrecht für die Juden im NS-Staat 2. Auflage C. F. Müller Verlag 452 S. Heidelberg 1996**
- 3. W. Ribbe & J. Schmäddecke Kleine Berlin-Geschichte 2. Auflage 270 S. Berlin, 1989**

Berlin, 2001

Элла Грабер

МОЙ ХУДОЖНИК

Амстердам, Амстердам! Я-то знаю, почему меня манит к себе этот город. Хорошо помню: Ван Гог. Огненный шар заходящего солнца, его палящие лучи, вырывающиеся за раму картины, и... хочется зажмуриться: выжженная лоза, крошечные фигурки сборщиков винограда.

«Красные виноградники в Арле». Одна из картин мастера, памятная мне по музею им. А.С. Пушкина... Москва. Ван Гог. Любовь с первого взгляда. Любовь отроческая.

Я ехала с сыном в Амстердам, город юности и радости, туда, где в музее хранятся работы мастера. Амстердам, мой Амстердам...

Желание рассказать о своем восприятии живописи Ван Гога означает для меня поделиться чем-то личным, сокровенным. Это то, что завтра, возможно, уже уйдет, но хочется оставить хотя бы небольшой, пусть пунктирный, след от пережитого. Начну с неба. Небо Ван Гога...

Личность художника сливается с его творениями, и непросвещенному не дано вникнуть в это великое единство. Ранняя работа мастера в его Амстердамском музее, рисунок «Ландшафт с кирхой». Карандаш и перо лаконично передают скудный заснеженный деревенский пейзаж.

Небольшая кирха, между нею и изгородью – обнаженные деревья с воздетыми руками, выстроившиеся в ряд вдоль кустов. На переднем плане – одинокие прохожие. И башенки кирхи, и стволы деревьев подчеркивают вертикальную композицию рисунка. «Плоская страна тоскует по вертикали» – слова И. Бродского о Голландии. Думается мне: вот бы разбежаться и взлететь над кустами и деревьями, над башенкой и охватить взглядом все вместе... Ведь летают же на полотнах Марка Шагала...

Взлететь-то возможно, но кому дано там, в облаках, найти дорогу? А небо безмолвствует. И эта кирха посередине – между человеком и небом. Кажется, скупые лучи зимнего солнца, дробясь о стекла витражей, причудливой мозаикой ложатся на пол, скамьи, алтарь, освещая икопостас, даря прихожанам светлую радость.

Но я уже не здесь. Ищу глазами живописные работы мастера, в которых он мне еще ближе.

Густая голубизна неба. На его фоне словно парят в воздухе зеленые ветви миндаля. Дерево опрокидывает на зрителя пышную прелесть своего

цветения. Его узловатые пальцы тянутся, зывают. Они переплетены, беспомощно простерты в пространство, невозможно оторвать глаз от щедро распахнутых бутонов бело-розовых цветов «Цветущий миндаль».

Иду дальше... «Хлебное поле с воронами». Волнующееся поле высоких хлебов. Сочный желтый цвет. Цвет Ван Гога, и вьющаяся между колосьев зеленая дорожка. Над всей этой красотой – злое черные вороны. Низко висит свинцовое грозное небо, оно будто стремится смять, раздавить все – яркую желтизну хлебов и своих мрачных посланцев.

Вот и зал, на встречу с которым я с трепетом стремлюсь. Краем глаза успеваю заметить следом идущего сына. Вот и они – долгожданные «Подсолнухи». Напряжение захлестывает меня. Здесь цвет мастера – на грани реального и ирреального. Упорный труд нечеловеческого зрения, нечеловеческого мозга... Простой глиняный кувшин. Подсолнухи. В желтизне таится нечто завораживающее. Мгновение – и они оживают. Я не могу сдвинуться с места. В цветах заключен некий протест. Картина вот-вот взорвется. Я ощущаю исходящую от нее энергию...

Уходим, а подсолнухи, грациозно изогнув гибкие шеи, словно устремляются следом. Мы уходим от полотен, оставляя мятущуюся боль мастера, его дыхание... Кем он был, Ван Гог? Затворником?

Монахом? Сумасшедшим? Нет, только лишь Великаном.

Над всем виденным проплывает в памяти автопортрет рыжего голубоглазого Мастера. И его желтая соломенная шляпа мягко опускается мне на голову.

Амстердам, уже теперь мой город, остается навсегда в моей памяти, захлестывая многие виденные ранее города.

Генриетта Ляховицкая

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ И ПОТСДАМЕР ПЛАЦ

Из автобиографических записей «Мое искусствоВИДЕНИЕ»

«Архитектурные фантазии» Поэта.

*Кто-то удивительно сказал, что архитектура – это застывшая музыка.
Говорил ли кто-нибудь, что поэзия может воплотиться в архитектуре?*

* * *

За десять лет до конца двадцатого века довелось мне увидеть в центре Берлина вздыбленный, взрытый, исковерканный пейзаж, похожий на тысячекратно увеличенную песочницу после ковыряния в ней каких-то циклопических малолеток. Оказалось, что здесь начата самая большая в истории Европы стройка.

Приезжая раз в год, обязательно забиралась на самый верх красного Информационного бокса и пристрастно разглядывала изменения. Через шесть лет, переселившись из Петербурга в Берлин, следила за стройкой уже ежедневно, благо дважды в день пересаживалась на станции метро «Потсдамер Платц».

В старых городах новостройки редко возникают в центре. Легко ли строить посреди города с миллионами жителей, не прерывая движения транспорта, не имея места для складов? Как инженер понимала неподъемность задач, но тем более восхищалась быстроте и внешней легкости преобразования первичного хаоса в осмысленную гармонию. Никакой суматохи, многолюдья и муравьиного копошения. Бесшумно двигались стрелы бесчисленных кранов. Их ажурные силуэты иногда подчеркивались тысячами цветных ламп, и тогда чудилось звучание музыки, цветомузыки ... В 1997 году я написала стихотворение «Обновление» о молодеющем «начиная от центра» Берлине:

... И на Потсдамер Платц плавно движутся стрелы у кранов,
словно руки вздымают они для мольбы, для мольбы ...

... А в блестящих витринах все реклама, и блики экранов,
и на месте Стены лишь кровавый алеет рубец,
и на Потсдамер Платц плавно движутся стрелы у кранов,
стены юных домов подводя под венец, под венец.

Позже мне рассказывали, что однажды на стройке была исполнена «Симфония кранов». Дирижер подавал цифровые сигналы. Каждый означал какое-либо движение, и все стрелы двигались синхронно со звучанием оркестра. Те, кто смотрел это по телевизору, спрашивали меня, не написано ли стихотворение под впечатлением небывалого концерта. Но нет, не довелось его увидеть, к сожалению.

* * *

Лес кранов редел. Проявлялись одно за другим завершенные строения. Они мне казались знакомыми. Припоминались они не по тем неживым макетам, что были выставлены в Инфобоксе, а откуда-то издалека, будто я уже видела когда-то такую совокупность «живьем». Вспомнила о выставке в Ленинграде, в 1990 году. Тогда в залах корпуса Бенуа Русского музея были представлены «Архитектурные фантазии Якова Чернихова». У меня сохранился билет. Между прочим, спонсором выставки была немецкая авиакомпания «Люфтганза». Да, авангард, Россия, Малевич, Кандинский, незабываемые фантазии Чернихова – это уже похоже по духу и совсем близко, ведь это именно архитектурные фантазии. Но какое-то еще более полное совпадение живо в памяти. Откуда?

В начале января 2003 года я искала в томе «Творения» Велимира Хлебникова его заметку о стихах, чтобы процитировать в литературном клубе. И вдруг наткнулась на стихотворение «Город будущего». Написано в 1920 году. Вот оно! Именно Хлебников достоверно описал нынешнюю берлинскую сердцевику как будущий город Солнцестана. Его поэтические строки создали тот образ, который был когда-то воспринят мной не как ряды слов на плоской бумаге, а сразу в объемном, о вещественном виде. Потому и не могла вспомнить источник ...

Выставка в Берлине, посвященная 300-летию Санкт-Петербурга, пришлось на холодные, снежные дни с 7 по 9 марта 2003 года. Случайно узнав о ней, превозмогла нежелание мерзнуть и добралась до выставочного комплекса. И не зря! Экспозиция была хороша. словно специально для меня представлены были там и работы Якова Чернихова (1889 – 1951). Их привез внук знаменитого архитектора Андрей Черников, который унаследовал профессию деда. На выставке не удалось его застать, но мне подарили небольшой проспект, где в своей концепции книги «Архитектурные фантазии Якова Чернихова» он в первых же строках пишет о становлении эры нового искусства в России в первой четверти двадцатого века и перечисляет такие имена: Василий Кандинский, Казимир Малевич, Велимир Хлебников, Владимир Маяковский, Яков Черников.

Имя Хлебникова в этом списке выделено мной. Поэт создал свои стихотворно-архитектурные фантазии о городе будущего в 1920 году. Труд Якова Чернихова «Архитектурные фантазии: 101 композиция» опубликован в Ленинграде в 1933 году. Оба дышали воздухом нового времени, оба поэтизировали будущее, оба были фантастически-

ми романтиками и романтическими фантастами. Среди стареющих снобов все более модно становится морщиться от слов романтика и фантастика, но для меня они не теряют обаяния юной дерзости. Слыхала и презрительное название Потсдамер Платц – «Искусственное сердце Берлина». Для меня здесь корень в искусстве, а не в искусственности. Если взамен изношенного умирающего сердца вживляется с величайшим искусством созданное титановое, то это – и титаническое сердце.

В центре Берлина бьется титаническое новое сердце, предсказанное архитектурными фантазиями Поэта и созданное великим архитектурным и инженерным искусством.

* * *

Дух Будетлянина над Потсдамер Платц

И была сотворена бездна среди пустот, оставленных Второй мировой войной в центре Берлина. Чей дух носился над этой бездной? Кто сумел предугадать будущее в невиданном хаосе из нагромождений камней, взрытой почвы, сыпучих склонов гравия, песка, подков надкратерных выбросов?

Небывалая стройка разразилась посреди Европы в конце двадцатого века. А в его начале, в хаосе послеоктябрьской России поэт Велимир Хлебников творил свой «Город будущего»:

« Мы входим в город Солнцестан

Где только мера и длина».

Велимир Хлебников – В.Х.

«Город будущего» – «Г.Б.», 1920.

Длина – пространственная протяженность и мера – соразмерность в пространстве органичны для поэта-математика. Именно числа превратили его взгляд в пронзающий время луч. Сфокусированный на будущем, он становился вещим:

«Я всматриваюсь в вас, о, числа ...

Вы позволяете понимать века ...

Мои сейчас вещеобразно разверзлись зеницы

Узнать, что будет ... »

В.Х. «Числа», 1912.

Тот, кто знает, что будет, по праву носит имя Будетлянин.

Что видел окрест себя поэт в его тогдашнем настоящем, в пепле Первой мировой и Гражданской войн? Не был ли это призрак Петербурга?

«Тайной вечера глаз знает много Нева,

Здесь спасителей кровь причастилась вчера

С телом севера, камнем булыжника.

В ней воспета любовь отплывших страниц.

Это пеплом любви так черны вечера ...»

В.Х. «Тайной вечера ...», 1921.

По быломu городу поэты тосковали и плакали тогда: «Под травой уснула мостовая, / Над Невой разрушенный гранит ... / Я вернулась, я пришла живая, / Только поздно ~ город мой убит... / Надругались, очи ослепили, / Чтоб не видел солнца и небес, / И лежит замученный в могиле ...»

Елизавета Дмитриева «Петербургу», 1922.

Так не в этом ли ослепленном, чтоб не видел солнца, убитом городе воспевал провидец «город Солнцестана»? Он не фантазировал, а четко и достоверно сформулировал то, что видели его «вещеобразно разверзшиеся зеницы» в осуществленном будущем. Именно так! Иначе невозможно объяснить точность словесного описания в 1920 году картины новостройки двадцать первого века.

* * *

Выход из подземной станции «Потсдамер Платц» на землю, уже избавленную от «пустоты и безвидности», сравним, вероятно, с выходом из капсулы ракеты в открытый космос. Распахнуто пространство, в котором подобно созвездиям блистают

«Дворцы-страницы, дворцы-книги,
Стеклянные развернутые книги ...
Здесь камню сказано «долгой»,
Когда пришли за властью мысли.»
Здесь и далее: В.Х. «Г.Б.», 1920.

Мысли архитекторов мгновенным пробегом бесплотных нейронных импульсов порождают мыслеобразы. Они овеществляются во все более плотной материальности – в легком наброске, в обобщенном рисунке, в детальных чертежах, в макетах и, наконец, в осязаемости завершеного воплощения. Власть мысли в обретении плоти.

Поэт в своем времени физически не мог видеть и осязать эти воплощенные мыслеобразы из будущего времени. Но, возможно, однажды в пространственно-временной кривизне соприкоснулись на совпавшей частоте колебания, несущие эти мысли, и вибрации поэтического настроения. И возникло видение.

* * *

Три высотных строения помножены друг на друга. Слева – почти белые отвесные плоскости –

«Толпа прозрачно-светлых окон ...
В высоком и отвесном храме».

В центре, контрастируя с ним, кирпично-красный дворец, «прямей, чем старца посох, свою бросает ось» – заостренной вертикалью, а вдоль луча улицы – нисходящей ступенчатой горизонталью. Его темный силуэт на белеющей подкладке соседа слева отражается в гигантском стеклянном дворце-парусе справа.

Мощная мачта наклонно прочерчивает прозрачное полотнище паруса, изначально и постоянно наполненного «ветром города».

«О, ветер города, размеренно двигай
Здесь неводом ячеек и сетей.
А здесь страниц стеклянной книгой,
Здесь иглами осей,
Здесь лесом строгих плоскостей.»

За дворцом-парусом виден круглый, чуть наклонный шатер-купол хрустальной огранки из двух дужин белых прогнутых пластин – парусящих кливеров плывущего в небе брига. Они стянуты «неводом ячеек и сетей» напряженных тросов к центральной «игле оси». Эта игла-ось волшебной силой точного расчета держит весь шатер. Невероятна эта замена привычной, вросшей в землю центральной опорной колонны на оставленную в вертикальном падении иглу – «верхушкой сюда падай». Но так это есть. Верхушка оси-иглы, обращенная вниз в ее падении, нацелена на круглый плоский бассейн нетрадиционного фонтана с прозрачным дном. Вечерами глубинные этажи здания под фонтанным бассейном освещены и отражение воды заполняет их. В этом ирреальном подводном мире перемещаются прозрачные кабины лифтов и люди, будто ихтиандры, спокойно двигаются в мерцающей водной глубине.

Площадь под шатром окружена высокими зданиями, но они не смыкаются, а разделены проемами во всю их высоту, так что отовсюду видно небо и дышится легко.

Радиально сходящиеся к круглому навершию пластины шатра подобны волокнам радужной оболочки глаза вокруг темного отверстия зрачка. Вся громада купола, пронизанная солнцем днем или просвеченная снизу вечером, кажется на удивленье легкой, воздушной. Она –

«Светла венком стеклянной проседи.
Ее на небо устремленный глаз
В чернила ночи ярко пролит».

В солнечные дни стеклянные поверхности мечут сплясавшие блики, и небо, по контрасту, кажется густо-синим.

«Весь город – лист зеркальных окон ...
Ты мечешь в даль стеклянный дол»

Плоскости стен некоторых домов пересекаются под острыми углами, создавая бритвенный «углов полет». Поэтому в затенениях «книгой черных плоскостей разрежет город синеву».

Вокруг площади Марлен Дитрих высокие дома затеяют необычно широкие и низкие ступени, нисходящие к подвижной воде, и при взгляде вверх кажется, что

«...Небо пролито из синего кувшина,
из рук русалки темной площади...»

Если следовать течению воды, можно обогнуть последнее в ряду оригинальных зданий и, переступая через воду, по камням войти внутрь пассажа. Высоко вверху темные перемишки зданий клавишно чередуются со светлыми проемами неба. Какие руки перебирали эти клавиши, вызывая мощное архитектурное звучание? Его гармония отпечаталась внизу в двух каменных синусоидах, застывших в противофазе – вершины против впадин.

С другой, внешней стороны пассажа весь фасад – протяженная волнистая стеклянная стена. Накатываются один за другим вертикальные стеклянные валы. Начинаешь покачиваться в ритме плавных изгибов. Кружится голова от смены ракурсов отражений – сюрреалистически деформированных гнутым стеклом зданий, деревьев, автомобилей на бесконечно разворачивающемся призрачном холсте прозрачной стены:

«Отвесная хором нить,
Верхушкой сюда падай,
Я буду вечно помнить
Стены прозрачной радуй.»

Вступая на Потсдамер Платц, понимаешь, что для поэта именно этот город

«Разрез страниц стеклянного объема
широкой книгой открывал.
А здесь на вал окутал вал
Прозрачного холста ...
И рос, как множество зеркального излома».

Возможно ли, что воплощенный ныне город Велимира Хлебникова был действительно увиден им в начале ушедшего века? Или архитектурные фантазии Поэта-Будетлянина предвосхитили будущий для него и сегодняшний для нас дух архитектуры?

Январь – апрель 2003. Берлин.

ДИНАСТИЯ ИЗДАТЕЛЕЙ

Одна из станций Берлинской подземки носит название «Ullsteinstraße». Рядом с входом в нее стоит большое здание с башней и позолоченными часами на ней. По виду трудно определить его назначение. В нем сочетается респектабельность, свойственная административному строению, с деловитостью производственного здания.

Оно построено в 1926 году, и со дня постройки до шестидесятых годов в нем размещалась типография издательства Ульштайнов. У одного из углов здания на постаменте стоит крупный, немного угрюмый бронзовый филин – фирменный знак издательства. Большая оживленная улица, примыкающая к зданию, названа еще в двадцатые годы прошлого столетия именем основателей этого издательства.

В 2002 году издательству «Ullstein Verlag» исполнилось 125 лет. Издательство отметило этот юбилей скромно – страницей в интернете. А вот в честь 100-летия, в 1977 году, появилась его трехтомная история. Была тогда также издана книга «Hundert Jahre Ullstein», вместившая историю издательства в прекрасных фотографиях с короткими пояснениями к ним. Оба издания представляют значительный интерес для читателя. Однако самым интересным несомненно окажется более раннее издание – книга, вышедшая к 50-летию юбилею в 1927 году.

Она носит название «История дома». Ее редактором и автором основных разделов был Георг Бернхард (Georg Bernhard) – журналист, сотрудник издательства, депутат рейхстага, советник министра иностранных дел Германии Штре-земанна.

подавляющее большинство сотрудников не без оснований считало издательство своим вторым домом. Отсюда и название юбилейного издания. Сама книга, ее оформление, качество иллюстраций свидетельствуют о высокой полиграфической культуре издательства, а содержание книги во многом позволяет понять, в чем секрет его головокружительных успехов. Здесь прежде всего сказались предприимчивость, удивительная работоспособность и организаторский талант основате-

ля издательства – Леопольда Ульштайна, сумевшего вместе со своими пятью сыновьями создать в конце XIX – начале XX столетия самое большое в мире газетно – книжное издательство. Ульштайнам удалось сплотить вокруг себя великолепный редакторский коллектив, пригласить выдающихся журналистов, фотографов, художников, а также способствовать тому, чтобы каждый работник был заинтересован в успехе общего дела. В истории издательства четко прослеживается то, что именовалось «духом дома» – это сочетание толерантности и дружелюбия, создававших прекрасную рабочую атмосферу.

Одним из требований неписанного устава была вежливость, причем вежливость по нарастающей не снизу – вверх, а, наоборот: сверху – вниз. Громкие разносы не поощрялись, даже серьезный выговор обычно заканчивался шуткой.

Леопольд Ульштайн безошибочно находил и приобщал к делу людей талантливых, порой и весьма нестандартных, обладавших иногда своеобразным характером. Одной из этих «находок» шефа был известный фельетонист Артур Бремер (Arthur Bremer) – человек небольшого роста, с торчащей копной волос на голове, с постоянно сползающим с крючкообразного носа пенсне.

Шеф редко мог застать его на месте в редакции, чаще всего ему приходилось услышать: «Он только что вышел» или «Его недавно видели». Бремер почти все рабочее время проводил в соседних кондитерских или кнайпах, окруженный студентами, рабочими и прочим простым людом. Там и рождались его знаменитые фельетоны. Шутка в повседневном общении между сотрудниками была привычной. В ходу было мнение, что чувство юмора, наряду с пристрастием к работе, включено в контракт. Считалось, что синяки и шишки лучше получать сбоку, чем сверху. «Редакторы критикуют экономистов, работники рекламы считают, что не блестящи дела у печатников; печатники вдруг находят недостатки у работников изданий моды; спортивные обозреватели поругивают фельетонистов, и все неправы, а может все же правы: ведь все они в итоге еще и первые читатели», – вспоминал один из журналистов.

Образец начальственного внушения в одной из редакций: «Не обольщайтесь: сотысячного тиража вы достигли только благодаря прекрасной работе распространителей». В тот же день работники отдела распространения слышат другое: «Всего сто тысяч! Да с такими редакторами и 150 тысяч вовсе не предел».

Здесь нет знаков отличия, но все отличаются друг от друга. Все, кажется, знают все друг о друге: знают, в частности, кто сколько получает, правда, все называют разные суммы. Многие, встречаясь в общей столовой, хвастают, как они ловко накануне «отбрили» своего начальника. Все выражают свой восторг, но никто в это не верит.

Считалось, что в этом доме нужно думать и действовать. Кто думает, что можно просто отсиживать по 8 часов, из-под того может незаметно «исчезнуть кресло». Общение друг с другом по служебным вопросам предпочтительно в письменном виде. Ответ окажется более взвешенным... «если он вообще состоится».

Письма шефу следует писать на плохой бумаге, чтобы не быть заподозренными в мотовстве.

Вскоре после своего возникновения издательство стало проявлять заметную заботу о своих сотрудниках: работала столовая с доступными ценами, имелись медчасть, прекрасно оборудованные душевые, многочисленные спортивные сооружения. Библиотека насчитывала 35000 томов. К услугам журналистов был богатый архив. Сотрудники, уходящие на пенсию, получали постоянную доплату к ней. Существовали значительные доплаты к заработку за выслугу лет в издательстве, особенно это касалось распространителей прессы. Для того времени весьма прогрессивные взаимоотношения между работодателями и коллективом. Ни разу, даже в годы смут и революций, не было здесь забастовок.

А начиналось все так.

В баварском городе Фюрте (Fürth) из поколения в поколение торговлей бумагой занималась семья Ульштайнов. Товар, которым торговали Ульштайны, был, видимо, не только источником дохода, но и какой-то семейной страстью. Вот и 22-х летний Леопольд, переселившийся вскоре после смерти своего отца — Хаима Хирша Ульштайна в 1848 году в Берлин, занялся тем же видом торговли. Леопольд Ульштайн, человек с широким кругозором, исповедующий либеральные взгляды, пользовался доброй славой в Берлине. В 1871 году он был избран в Собрание Представителей Берлина, где и заседал до 1877 года. В этом году он основал издательство. В нем поначалу выходила одна лишь газета «Neue Berliner Tagesblatt», переименованная вскоре в знакомую и сегодня «Berliner Zeitung». Тираж ее вырос с 19 тысяч до 40 тысяч в течение полутора лет. Вскоре в этом же издательстве начала выходить и вечерняя газета — «Berliner Abendblatt». Идея издания вечерней газеты была чисто прагматической: не простаивать же днем, после напечатания утренних выпусков, двум ротационным машинам.

Вечерняя газета распространялась и за пределами Берлина. В 1894 году в этом же издательстве вышел первый номер еженедельника «Berliner Illustrierte Zeitung», а в 1898 году и «Berliner Morgenost». Еще и сегодня, приобретя воскресный ее выпуск, вы найдете в ней в виде приложения «Berliner Illustrierte Zeitung».

В то время газету можно было купить в очень немногих местах: кнайпах, мелких магазинчиках, с рук у разносчиков. Газетных киосков не существовало. Подписка на газеты принималась не менее чем на квартал, что для многих делало ее финансово недоступной. Ульштайны стали практиковать подписку на срок в одну неделю, цена газеты была резко снижена. Распространители газеты, которые принимали подписку, выдавали квитанции, на которых сериями печатались картинки для детей, вскоре ставшие желанным объектом у коллекционеров. Уже через год после ее выхода «Berliner Morgenost» имела 160 000 постоянных абонентов.

Число изданий, их тиражи лавинообразно нарастали.

Кроме названных выше газет вскоре стали выходить и другие периодические издания: «Der Querschnitt» - «Поперечное сечение», «Uhu» - «Филин» /издания, адресованные интеллектуалам/, «Die Montagspost» /газета, выходившая по понедельникам, когда другие газеты не выходили/, «Der heitere Fridolin» - «Веселый Фридолин» /детский журнал/, «Musik für alle», «Tonmeister» /музыкальные журналы/, «Die Koralle» /научно - популярный журнал/, «Weltmode», «Die Dame», «Illustrierte Frauen Zeitung» /журналы для женщин/, спортивные журналы и другие.

Отдельного упоминания заслуживает газета «Die Vossische Zeitung». Ее начал издавать еще в 1751 году торговец книгами по фамилии Фос /Voß/, отсюда и название. Это весьма авторитетное издание было приобретено Ульштайнами в 1913 году и выходило до 1934 года, когда газету запретили нацисты. О масштабах деятельности издательства можно судить по использованной им бумаге. В 1926 году ее было истрчено 16 миллионов тонн. (!) Жители Берлина и сегодня читают газеты, основанные Ульштайнами еще в XIX веке. Издательству изначально кроме газет принадлежала типография, оснащенная новейшей полиграфической техникой, ставшая со временем самой крупной в Европе. Оно располагало еще и фабрикой по производству типографских красок.

Издательство и редакции газет разместились в собственном здании, построенном архитектором Швенке (Hermann Schwenke) по адресу Кохштрассе, 23 в Берлине. Здание это, к сожалению, не сохранилось. Оно обладало изящным фасадом и прекрасным интерьером. К основному зданию вскоре добавились пристройки, были куплены соседние дома, расположенные на «Kochstrasse» и на примыкающих двух улицах - «Scharlotenstrasse» и «Marggrafenstrasse». Все они были соединены переходами в один, весьма внушительный по размерам, комплекс. Говорили, что даже сотрудники со стажем не всегда ориентировались в тамошних лабиринтах и были вынуждены прибегать к помощи указателей в коридорах. Кто-то пошутил, что только писатели безошибочно находят здесь дорогу и то лишь в дни выплаты гонорара. Издательство Ульштайнов вскоре после его основания стало семейным предприятием. К участию «в деле» отца подключились постепенно все пять его сыновей. После смерти Леопольда Ульштайна, последовавшей в 1899 году, его сыновья коллективно руководят издательством. Все они не просто владельцы. Каждый из них активно участвует в работе.

В редакциях издательства сотрудничало много известных журналистов, писателей, художников. Следует упомянуть Германа Дюпона (Hermann Dupont), редактора и одного из зачинателей «Berliner Illustrierte Zeitung»; Курта Корфа (Kurt Korff) - изобретателя фотомонтажа. Благодаря ему немцы увидели своих правителей в «семейных» трусах; раздел экономики вел профессор Франц Опенгеймер (Franz Oppenheimer). В разное время в ульштайновских изданиях появлялись рисунки известных художников: Пабло Пикассо (Pablo Picasso), Макса Бекмана (Max Beckmann), Эдмунда Эделя (Edmund Edel), Хайриха Цилле (Heinrich Zille). В рабо-

те издательства принимали участие известные писатели: Курт Тухольский (Kurt Tucholski), Бертольд Брехт (Bertold Brecht), Карл Цукмайер (Carl Zuckmayer).

Музыкальными изданиями ведал известный австрийский пианист Артур Шнабель (Arthur Schnabel).

Издательству изначально был присущ дух новаторства. Это касалось всевозможных новинок в полиграфии, новых способов рекламы и распространения готовой продукции. Уже в самом начале XX века здесь работала пневматическая почта, существовала автономная телефонная связь, использовалась радиосвязь.

В «Berliner Illustrierte Zeitung» впервые в Европе был применен фотомонтаж, в журналах для женщин впервые печатаются бумажные выкройки платьев, а потом появилась и сеть магазинов, где продавались эти выкройки уже из тканей.

Непревзойденным оказалось издательство в рекламе своей продукции и ее распространении. На улицах Берлина можно было встретить велосипедистов, у которых к велосипеду крепилась тележка с газетами и надписью на ней, рекламирующей это издание. Вскоре появились распространители на автомобилях, летом газеты доставлялись на курорты и места отдыха, иногда и самолетом. Созданы филиалы в Вене, Кельне, Гамбурге. Возникла сеть собственных корреспондентов за границей, в том числе и в Москве. Всего насчитывалось около двухсот корреспондентских пунктов. Они предоставляли информацию и другим издательствам.

Насколько умелой была коммерческая деятельность можно судить уже по тому, что издательство осталось на плаву и даже расширялось и в годы, когда инфляция безжалостно разрушала экономику.

В те дни деньги, вырученные за газеты, по дороге в редакцию теряли половину своей стоимости. Многократно теряли они свою ценность и по дороге из издательства в банк. Сохранился экземпляр газеты «Berliner Morgenpost», рядом с названием которой видна цена – 50 миллиардов марок. В эти тяжелые времена издательство выручила типография. Она, благодаря все той же инфляции, днем и ночью печатала по заказу правительства денежные купюры, получая плату в твердой валюте.

Еще в конце XIX века издатели решили сделать рождественский подарок подписчикам газет в виде книжного приложения. С этого и началось издание книг. Поначалу это были дешевые издания, часть из которых выпускалась сериями.

В 1919 году в издательстве появилось отделение, позаимствовавшее свое название у журнала, издававшегося Гете в конце XVIII века – «Пропилеи» (в древней Греции – часть здания, где расположена колоннада).

Роскошные издания, увидевшие здесь свет, приумножили славу издательства. Все, что было издано в «Пропилеях», отличалось особой тщательностью редактирования и прекрасным, со вкусом выполненным внешним оформлением. Учитывая немалую стоимость книг, тиражи впечатляют. Речь ведь идет о межвоенном времени, частично совпавшим с годами мирового кризиса.

Какому книголюбу не хотелось бы иметь в своей библиотеке 24-томную, с прекрасными иллюстрациями «Историю искусств»?

Кто из них устоял бы перед десятитомной «Всемирной Историей»?

Для подготовки этих изданий привлекались лучшие авторы и ученые, многие с мировым именем.

В «ПроPILEях» были изданы 45-томное собрание сочинений Гете, 22- томное Шиллера, вышли сочинения Мольера, Монтеня, Гоголя, Стендаля, Эдгара По, Марка Твена и многих других авторов.

В «ПроPILEях» были напечатаны произведения Айхендорфа, Шторма, Каллера.

Не были обойдены вниманием и молодые в то время Цукмайер, Фейхтвангер, Брехт.

В издательстве Ульштайнов печатались произведения Рильке. Здесь начал свое восхождение к вершинам мировой славы Эрих Мария Ремарк.

Первое издание его «На западном фронте без перемен» состоялось в 1928 году. В 1931 году был издан пользующийся популярностью до наших дней «Капитан из Келенига» Карла Цукмайера. Книга, по которой осуществлены многие театральные постановки и сняты фильмы.

После прихода к власти нацистов семья Ульштайнов была лишена собственности и ее принудили к эмиграции. Гитлер лично заботился об «аризации» этого издательства и его недвижимости. Владельцам была выплачена смехотворная сумма, которую нацисты позже отняли при отъезде Ульштайнов в эмиграцию. При нацистах издательство получило новое название: «Немецкое Издательство», правда, «ПроPILEи» остались непереименованными – древние греки пока под расовые законы третьего рейха не подпадали. За 12 лет нацизма трудно назвать какие-либо выдающиеся достижения этого издательства. Пожалуй, можно назвать лишь скромно изданный «Мир животных» и «Словарь огородника». Печатались также близкие по духу гитлеровцам авторы.

Из многочисленных зданий, принадлежавших издательству, в разрушенном Берлине сохранилось лишь здание типографии. Из эмиграции в Берлин вернулся только один Рудольф Ульштайн. Остатки собственности Ульштайнов были возвращены им только в 1952 году. В руководстве появляется третье по счету поколение этой семьи: Франц и Хайнц Ульштайны.

Вновь печатаются газеты, вновь в «ПроPILEях» издаются великолепные книги: это серия писателей и философов древности, это классическое издание произведений Казановы, это десятитомная «Мировая История» с тиражом 300 000 экземпляров /ее можно заказать и в наши дни/ и многотомная «История Европы».

Печатается мемуарная литература, современные немецкие и зарубежные писатели.

В издательстве Ульштайнов нашел приют и журнал политэмигрантов из Советского Союза – «Континент».

В 1959 году издательство объединяется с издательством Акселя Шпрингера.

В наши дни издательство сохранило старое название и старые традиции, но в его руководстве никого из семьи Ульштайнов уже нет. Из последних книг, вышедших в этом издательстве, следует назвать книгу польского пианиста еврейского происхождения Владислава Шпильмана (Wladyslaw Szpilman) под названием «Чудесное Спасение» (Das wunderbare Überleben). По этой книге создан фильм «Пианист» американского режиссера Полянского. Меломаны получили пятитомное справочное издание «Мир Музыки» – «Welt der Musik».

В 2003 году в списке бестселлеров числятся увидевшие свет в издательстве Ульштайнов: «Пожар» Йорга Фридриха и «Борьба с терроризмом – борьба с Исламом?» известного телевизионного обозревателя Петера Шоль-Лятур.

Так в историю Берлина, в историю Германии да и, не будет преувеличением сказать, в историю мировой культуры вписалось славное имя семьи Ульштайнов.

Источники:

1. «50 Jahre Ullstein 1877 – 1927»

Die Geschichte des Hauses von Georg Bernhard.

Verlag Ullstein – Berlin 1927.

2. «Hundert Jahre Ullstein: 1877 – 1977»

Teil 1 – 3

Beneiligt : Joachim Freyburg

Berlin : Ullstein 1977

3. «Hundert Jahre Ullstein : 1877 – 1977»

Bilderbuch mit Randebemerkungen.

Von Christian Ferber

Berlin . Ullstein, 1977.

4. «Der Treuhänder der großen Familie» von Ernst Cramer

«Berliner Morgenpost», 15. 03. 2003

5. «Fanatiker der Bilder» von Berthold Seewald « Berliner Illustrierte Zeitung»,

06. 04. 2003.

6. «Das Sonderrecht für die Juden in NS Staat» I .

Wolk C-F- Müller Verlag, Heidelberg, 1996

7. Gerhard Fischer 100 Jahre « Berliner Morgenpost» Edition Luisenstadt, 1988

ЦАРСКИЙ ФАВОРИТ И ЕГО ЭПОХА

Когда мы говорим о русских немцах, то обычно вспоминаем издавна селившихся на Руси крестьян, ремесленников, учителей, врачей, ученых. Ведь Россия всегда испытывала острую нужду в искусных и добросовестных работниках, в образованных и честных людях. А в Германии они были в избытке и нередко искали счастья вдали от родных мест. Некоторые прославили новое отечество значительными делами во имя ее блага. Среди них мы встречаем крупных государственных деятелей, в том числе генерал-фельдмаршала Бурхарда Миниха, графа Эрнста Бирона, шефа жандармов, генерала Александра Бенкендорфа, министра иностранных дел и канцлера Карла Нессельроде, главноуправляющего путями сообщения Петра Клейнмихеля, министра финансов и председателя кабинета министров Сергея Витте и многих других.

Достойное место в этой плеяде имен занимает граф Андрей Остерман – знаменитый русский государственный деятель первой половины 18-го века. Жители Бохума решили, что их выдающийся земляк известен в России не меньше, чем Отто фон Бисмарк в Германии, посвятив ему и эпохе его правления обширную выставку. Можно понять и оправдать их местный патриотизм, но я не очень уверен, что А. Остерман так уж хорошо знаком русскому читателю, и потому расскажу о нем подробнее.

Род Остерманов происходит от зажиточных крестьян Вимельхаузена (Вестфалия), своим упорным трудом сумевших обеспечить достаток и приличное образование многочисленным потомкам. В этой замечательной династии были юристы, священники и даже бургомистры. Прадед будущего графа, Матеус Остерман, стал адвокатом и в 1593 году поселился в Бохуме, а его сын и внук были там пасторами лютеранской церкви св. Павла. Именно в ней 9 июля 1687 г. Иоганн Конрад Остерман собственноручно внес в церковную книгу запись о рождении третьего сына Генриха Иоганна Фридриха, которому суждено было впоследствии сперва опозорить, а затем и прославить всю семью. Мать его Урсула Магдалина, урожденная Витгенштейн, нежно любила детей, но воспитывала их в традиционной строгости. Будучи мальчиком довольно живым, пожалуй, даже явным холериком, Генрих находился под особым надзором отца. Сперва он учился у себя дома в латинской школе, позже в гимназии Зеста, которую затем сменил на дортмундскую. 15-летним подростком послан отцом в университет Иены, где 9 сентября 1702 г. был зачислен на юридический факультет. Занимался он весьма прилежно, но вместе с тем принимал участие в обычных по тем временам студенческих пирушках и потасовках. А 4 мая

1703 г. произошло событие, вследствие которого вся жизнь его круто изменилась: около полуночи сильно подвыпивший Генрих по дороге пустился в пляс. Случайно присутствовавший при этом студент из Ганновера, ожидавший карету, при виде этого зрелища невольно засмеялся. Подстрекаемый приятелями 16-летний буян набросился на несчастного „обидчика“ и нанес ему смертельный удар ножом. Моментально отрезвев, Генрих в ужасе бросился бежать и, спасаясь от правосудия, в ту же ночь тайно покинул Германию. И хотя необдуманный поступок его был вызван всего лишь юношеской беспечностью и легкомыслием, ему пришлось долгие годы ожидать помилования, несмотря на многочисленные ходатайства членов семьи и высокопоставленных покровителей.

Вынужденный побег привел юношу в Амстердам, где ему удалось устроиться на службу в качестве помощника рулевого на русский корабль, которым командовал вице-адмирал Корнелиус Круйс, выполнявший царское поручение по набору матросов для российского флота. Этот счастливый случай оказался для Генриха Остермана воистину судьбоносным. Ведь именно в этот период молодой царь Петр I, разбудивший „русского медведя“ после длительной средневековой спячки, решительно взялся за коренные преобразования в стране. В первую очередь он стремился „в Европу прорубить окно“, вывести Русь из захолустного мелководья на простор мирового океана новой политической и экономической жизни. Выражаясь высоким пушкинским стилем, „была та смутная пора, когда Россия молодая, в бореньях силы напрягая, мужала с гением Петра“. Царь-реформатору срочно нужны были энергичные, талантливые, преданные государю и его великому делу помощники, и он неутомимо искал их у себя дома и за границей. Так очутились на русской земле многие немцы, среди них – родственник Г.Остермана, дипломат Г.Гюссен и его старший брат Иоганн Христов Дитрих Остерман, который впоследствии стал придворным воспитателем царевен – Екатерины, Анны (будущей императрицы) и Прасковьи.

В 1705 г. Генрих Остерман прибывает в недавно основанную северную столицу российского государства Санкт-Петербург и становится личным секретарем вице-адмирала Круйса. Здесь он вскоре попадает в ближайшее окружение царя, который обращает внимание на одаренного молодого человека, оказывает ему особую благосклонность и уже в 1708 г. назначает его сперва переводчиком посольского ведомства, а затем шифровальщиком своей полевой канцелярии. Так началась головокружительная карьера Остермана, от природы наделенного глубоким и гибким умом, цепкой памятью, способностью быстро усваивать языки, трудолюбием и настойчивостью. Вместо трехчленного немецкого имени его наделяют более простым и привычным для русского уха: отныне он именуется Андреем Ивановичем и становится своим человеком среди сподвижников царя. В 1710 г. Андрея Остермана переводят в коллегию иностранных дел под начало вице-канцлера П.П.Шафирова, с которым он впоследствии тесно сотрудничал и дружил много лет. Царь Петр доверяет Остерману ответственные дипломатические миссии при европейских дворах, используя прекрасное владение им иностранными языками и блестящее искусство улаживать самые сложные международные проблемы. Первым крупным успехом начинающего дипломата с многоопытным Шафировым стало заключение в 1711 г.

почетного мира с Турцией, в результате чего российские войска получили возможность сконцентрировать все силы для продолжения многолетней войны со шведами. А.И. Остерман становится советником Петра в вопросах внешней политики и по его поручению едет за границу, где ведет переговоры с главами европейских государств об антишведской коалиции. Начиная с 1718 г. он представляет Россию на трудных переговорах со Швецией о завершении Северной войны и вносит существенный вклад в подготовку мирного договора, подписанного в Ништадте (Финляндия) 30 августа 1721 года. В итоге Российская империя уверенно закрепила свое господство на Балтийском море, присоединив территории Лифляндии, Эстландии, Ингерманландии и часть Карелии. В день заключения мира царь в награду за эту заслугу присвоил А.И. Остерману титул барона и подарил большое имение с крепостными крестьянами.

34-летнему сановнику-холостяку император сам выбирает в жены свою родственницу – 22-летнюю красавицу Марфу Стрешневу из богатой и знатной дворянской семьи, а в качестве свадебного подарка передает молодоженам в собственность дворец на берегу Невы в центре Петербурга. Кстати, их семейная жизнь была на редкость счастливой, и они вырастили троих детей. Политическое возвышение новоявленного вельможи становится неудержимым, вызывая зависть и ревность у некоторых из соратников, в частности – у князей Голицыных и у А.Д. Меншикова. Вместе с тем у Остермана были и верные друзья, и могущественные покровители, которые в обиду его не давали. В 1723 г. он становится вице-канцлером, а позже – еще и генеральным директором почтового ведомства, принимает активное участие в учреждении Петербургской Академии наук.

После смерти Петра Великого императорский трон занимает его вдова Екатерина, которая возводит Остермана в сан рыцаря ордена св. Андрея Первозванного, сохранив за ним все его служебные посты и включив его в 1726 г. в Верховный тайный совет – совещательный орган, который фактически решал важнейшие государственные вопросы. В 1727 г. Екатерина I скончалась, не оставив после себя законного порядка престолонаследования. Было обнаружено поддельное завещание, авторство которого было впоследствии поставлено в вину Остерману и его сторонникам. В соответствии с этим завещанием престол должен был в первую очередь унаследовать 12-летний внук Петра и лишь во вторую – его дочь. При Петре II, сыне царевича Алексея, казненного Петром I, государством фактически правили сначала А.Д. Меншиков, а затем Долгоруковы. Остерман, оставаясь членом Верховного тайного совета, составил для юного императора программу воспитания. Но тот внезапно умирает, и в 1730 г. императрицей становится Анна, дочь Ивана V, старшего сводного брата Петра Великого. Анну Ивановну, вдову герцога курляндского, возвели на престол „верховники“, не желая прихода к власти Елизаветы Петровны, и Остерман сыграл в этом решающую роль. Ему удалось упразднить многочисленные привилегии дворян и усилить таким образом абсолютную власть императрицы. Анна Ивановна щедро вознаградила его за поддержку, возведя в наследственный сан графа, через год сделала вторым лицом в новом кабинете министров, а в 1734 г. – главой правительства, в руках которого фактически сосредоточилась вся внутренняя и внешняя политика Российской империи.

Казалось, Андрей Иванович Остерман достиг вершины своего могущества. Его влияние и всевластие в стране были так велики, что он на протяжении 15 лет справедливо считался „некоронованным императором“. Излюбленным и наиболее результативным полем его многогранной деятельности оставалась дипломатия, в которой он преследовал две основные цели: усиление роли России как великой европейской державы и ослабление Турции, постоянно угрожавшей ей с юга. Для решения первой задачи необходимо было укрепить абсолютную монархию, лишив власти старую русскую знать, которая отвергла сближение с Западом. Для достижения второй цели Остерман стремился установить более тесную связь с Австрией, злейшими врагами которой были также турки. Именно это было главным мотивом, побудившим его отдать предпочтение племяннице Петра Анне перед его дочерью Елизаветой, которая склонялась к союзу с врагом австрийцев Францией. В случае ее прихода к власти рухнула бы не только внешнеполитическая концепция Остермана, но и сам он не смог бы сохранить свое положение.

После смерти Анны Ивановны императором провозглашается ее внучатый племянник, грудной младенец Иван VI, вместо которого несколько месяцев правили его мать Анна Леопольдовна и граф Э. И. Бирон – фаворит покойной императрицы. Несмотря на то, что и в этом случае Остерман сыграл ведущую роль, он был на некоторое время отстранен от должности главы кабинета министров и лишен звания генерал-адмирала, но вскоре снова занял в правительстве первое место. Однако власть ребенка-императора и его матери-регентши длилась всего год. 25 ноября 1741 гвардейцы в столице совершили дворцовый переворот и провозгласили императрицей дочь Петра I Елизавету. Анна Леопольдовна вместе с сыном и всеми преданными ей министрами были арестованы, посажены в крепость и преданы суду. Одним из основных пунктов обвинения, предъявленных А.И.Остерману, была измена новой императрице, которую он дважды с умыслом лишил законного престолонаследия, и в этом Елизавета Петровна была несомненно права. 18 января 1743 г. графа Остермана должны были казнить, но у самого эшафота ему объявили о замене казни пожизненной ссылкой с конфискацией всего имущества, лишением всех титулов, званий и орденов. Остерман в сопровождении жены был доставлен в тот самый Березов в западной Сибири, куда он в прошлом сослал князя Меншикова и где тот умер в нищете и забвении. Вот такой крутой взлет и сколь глубокое падение! И все же спустя годы Остерман был реабилитирован, и при Екатерине II его семье было возвращено родовое имущество, а потомки его добились больших успехов в политической и военной карьере. Средний сын Андрея Ивановича Федор стал впоследствии действительным тайным советником и сенатором, губернатором Санкт-Петербурга и Москвы, а младший, Иван – послом в Швеции, позднее – канцлером при Екатерине Великой. Дочь Остермана Анна вышла замуж за графа Толстого, а внуки породнились с семьями князей Голицыных.

Драматическую судьбу всемогущего фаворита пяти российских монархов кропотливо исследовал директор бохумского архива Йоханнес Фолкер Вагнер. В долголетнем сотрудничестве с русскими музеями и историческими архивами, с немецким посольством в России и бохумским университетом он организовал обширную выставку, посвя-

щенную Остерману, сперва в Москве, а затем и на его родине, в Бохуме. Противоречивый жизненный путь выдающегося политика-реформатора – от матроса до адмирала, от писаря до канцлера – показан был на широком историческом фоне: старинные литографии, на которых изображены немецкие и российские города, где он проживал, подлинники и фотокопии архивных документов о рождении, учебе, службе, наградах и переписке графа, оригиналы и репродукции парадных портретов и бюсты самого Остермана и русских царей от Петра I до Екатерины Великой, его многочисленных соратников, врагов и потомков. Среди уникальных экспонатов – инкрустированная драгоценными камнями корона основателя династии Романовых царя Михаила, камзол Петра I, канделябры, подсвечники, кубки и набор столовых приборов из серебра, коллекции русского старинного оружия, монет и медалей. А из книг тех времен хотелось бы выделить первую прижизненную биографию Остермана, написанную Христианом Гемпелем в 1743 г.

С тех пор об этом выдающемся историческом деятеле и сложном человеке написано немало монографий и высказано множество противоречивых оценок. Дореволюционные русские и советские историки долгое время односторонне и предвзято рассматривали его как реакционного иноземца, чуждого интересам России. Но, очевидно, ближе всего к истине директор бохумского архива И. Ф. Вагнер, который полагает, что Остерман был одновременно побудителем и гонимым, творцом и жертвой политики, рефлектирующим мыслителем и зеркалом своего времени. Рожденный немцем и ставший русским государственным мужем, чувствовавший себя как дома в обеих культурах, он был личностью блестящей и в то же время – трагической.

МАША КАЛЕКО – НЕИЗВЕСТНАЯ ЗНАМЕНИТОСТЬ
(краткий очерк жизни и творчества)

Когда 10 мая 1933 года в Берлине, перед зданием оперы на Унтер ден Линден, одурманенные фашизмом, студенты жгли книги неугодных Третьему рейху авторов, вместе с увесистыми томами Гейне, Фейхтвангера и Эйнштейна горела тоненькая книга стихов с незатейливым названием «Тетрадь лирических стенограмм». Имя ее автора, Маша Калеко, ни о чем не говорит русскоязычному читателю.

В доступных мне материалах я не встречал публикации ее стихов на русском языке. Но в странах немецкого языка стихи Маши Калеко пользуются широкой известностью. По данным ПЭН-клуба на первом месте среди проданных сборников немецкоязычных стихов стоит избранная лирика Гете, издательства «Реclam», 138000 экз, на втором – «Тетрадь лирических стенограмм» Маши Калеко, – 100000 экз, – колоссальный тираж для лирического сборника. Ее стихами восхищались Герман Гессе и Томас Манн, Мартин Хайдеггер и Альберт Эйнштейн.

Но известность эта относится больше к стихам, чем к их автору. Читатель голосует за стихи Маши Калеко своими кровными банкнотами, что способствует многократному переизданию ее книг. В то же время серьезная критика немецкой поэзии XX века, если и пишет о творчестве Маши Калеко, то мимоходом, между прочим.

Ее стихи редки в антологиях. Мало известно о ее трагической судьбе. Можно лишь назвать одну серьезную книгу Гизелы Цох-Вестфаль «Из шести жизней Маши Калеко». (издательство «Арани», 1987, Бремен). Почему – непонятно. Принятое объяснение, что расовое законодательство фашистской Германии не позволило ее стихам выйти за пределы страны – не убедительно.

Маша Калеко (Голда Малка Энгель) родилась в еврейской семье 7 июня 1907 г. в Галиции, в маленьком городке Шидлов (теперь Хрзанов) в 50 км от Кракова. Ее отец был подданным России, мать – Австро-Венгрии. Маша Калеко писала о себе:

*В семействе эмигрантов я родилась,
В набитом сплетнями убогом городишке.*

*Там маленькая церковь находилась
И сумасшедший дом, большой и даже слишком.*

Нам сейчас трудно представить убожество материальной и духовной жизни евреев галицийских местечек. Это не тот опозтизированный и согретый добрым юмором мир, описанный Шолом-Алейхемом. Это мир, о котором Эдуард Багрицкий писал:

*Но съеденные вшами косы;
Ключица, выпирающая косо;
Прыщи; обмазанный селедкой рот
Да шея лошадиный поворот.*

Если учесть, что до 15 лет Маша росла незаконнорожденной (ее отец узаконил брак с матерью в 1922 году), станет понятно, почему Маша никогда не рассказывала о своем детстве, о своем галицийском происхождении. В довоенном Берлине всякое упоминание о Галиции вызывало брезгливость. Маша писала:

*Там постоянно ноябрь,
Ангина, тоска и страх.*
(«Заметки»)

Как сложилась бы ее жизнь, останься она в Галиции? Можно лишь догадываться. Судьба распорядилась иначе. Началась Первая мировая война. Отец Маши, как русский подданный, был интернирован в 1914 г. в Германию, куда и переехала вся семья. Они живут во Франкфурте-на-Майне, в Магдебурге и в 1918 г. поселяются в Берлине. Немецкий язык становится для нее родным, Берлин – родным городом. Здесь она оканчивает школу, поступает на работу в бюро, начинает писать стихи. В 1928 г. Малка Энгель выходит замуж за филолога Саула Арона Калеко, а с 1929 г. уже появляются ее стихи в прессе за подписью «Маша Калеко». Она входит в круг творческой богемы, которая собиралась в «Романском кафе» на Тауенциштрассе. Художники, артисты, литераторы – Тухольский, Кестнер, Рингельнатц, Эльза Ласкер-Шулер и другие спорили и мечтали здесь о лучшей жизни, не подозревая того, что обрушится на них через несколько лет.

Стихи Маши Калеко, помещенные в газетах, сразу покорили читателей легким и остроумным описанием берлинских будней. Берлинцы называли ее просто «Маша».

В январе 1933 г. выходит ее первая книга «Тетрадь лирических стенограмм» – ароматный коктейль из легкой иронии и лирической грусти. Она

имела огромный успех и мгновенно разошлась. Эрнст Ровольт сразу же выпустил второе издание. В 1935 г. появляется вторая книга Маши – «Хрестоматия для больших», в которой опубликованы новые стихи и лирическая проза.

Но времена круто изменились и обе книги были запрещены. Нераспроданная часть тиража уничтожена. Маша вынуждена была бежать из фашистской Германии. Она была смелым человеком. В 1968 г. на приеме в немецком консульстве в Цюрихе, на котором она присутствовала, писатель Вальтер Меринг провозгласил тост за Машу Калеко, которая ему спасла жизнь, рассказав следующую историю: В тридцатые годы в «Романское кафе» нагрянули нацисты, проверяя документы. Меринга разыскивало гестапо. Маша предупредила его, подошла к нацистам, кокетничая с ними и отвлекая их внимание, она дала возможность Мерингу скрыться. После этого он бежал из Германии.

После 10 лет супружества она развелась с С.А.Калеко и вышла замуж за дирижера и музыковеда Хемю Винавера. В 1938 г. они вместе с сыном Стивеном эмигрировали в США.

Это спасло их от гибели, но жизнь в Америке оказалась тяжелой. Винавер занимался хасидской музыкой, организовал хор и гастролировал с ним по всей стране. Так как он не знал английского языка, Маша сопровождала его и на переговорах, и на репетициях, и на концертах. Времени для собственного творчества оставалось в обрез. Но, несмотря на это, в 1945 г. выходит ее новый сборник «Стихи для современников». Темы его – война, Холокост, эмиграция, тоска по Родине.

Ирония в стихах становится резкой, отчетливой, метафоричность ярче обозначена, личное горе и трагедия народа придают полынную горечь отчаяния. Стихи по форме близки поэзии Гейне.

(Маша писала: «Скрывать не стану. Происхожу я от Генриха Гейне»).- Стихи в этой книге более раскованны и отточены. В них присутствует сочетание рифмованных строф с нерифмованными.

Причем, эти приемы в разных стихах применены по разному.

В 1960 г. Маше была присуждена литературная премия Т. Фонтане. Она от нее отказалась, т.к. один из членов жюри был в свое время в СС. В этом же году Маша с семьей переезжает в государство Израиль. Здесь Винавер заканчивает основной труд своей жизни – антологию синагогальной хасидской музыки. Этот переезд дался ей нелегко, ибо она не владела ивритом и общалась с немногочисленными знакомыми только по-английски. На лето, в самые жаркие месяцы, Маша уезжала в Европу, в основном в Германию, где выступала на литературных вечерах с большим успехом. И не только благодаря своей поэзии, но и личному обаянию.

В 1967 г. внезапно умирает ее 30-летний сын, талантливый преуспеваю-

ший режиссер, автор музыки и текстов многих бродвейских мюзиклов. В 1973 г. умирает Х.Винавер, потомок старинного раввинского рода, глубокий эрудит и музыкант.

По воспоминаниям друзей, Маша и ее муж были более близки, чем просто супружеская пара.

Их взаимопонимание было настолько очевидным, что, казалось, превосходило границы возможного. Смерть самых близких полностью подорвала душевные силы Маши. Стихи Маши Калеко всегда были связаны с ее судьбой. Горечь утрат она выразила в стихах запредельной искренности, когда, говоря словами Б.Пастернака, «кончается искусство и дышит почва и судьба». По форме и трагизму ее стихи созвучны со стихами Р.М.Рильке последних лет его жизни. Общеизвестно, что судьба играет человеком. В качестве инструмента она выбирает то мировые катаклизмы, то кожуру банана. Маша жила в Иерусалиме на 6 этаже, лифт долго ремонтировали, и ей было невыносимо тяжело подниматься в свою квартиру пешком, что явилось причиной ее отъезда летом 1974 г. в Европу, она задержалась в Цюрихе, заболела здесь и умерла 21 января 1975 года. Ее похоронили холодным дождливым утром. За гробом шли немногочисленные друзья и почитатели ее таланта. По ее просьбе надгробных речей не было, только лишь пение кантора, исполнившего заупокойную молитву еврейского народа.

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Л.Бердичевский
И.Гуревич
С.Львович
О.Пятов
А.Ходорковский
Д.Яновский

Леонид Бердичевский

Из Хаима-Нахмана БЯЛИКА

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Вот старик – худой и кроткий
пальцем водит по страницам.
Он у жизни посередке
кое-как привык ютиться.

Вот старуха – одряхлела.
Варит, штопает и вяжет,
Занята привычным делом,
слова лишнего не скажет.

Вместе прожили полвека.
Тот же быт и то же счастье.
Те же прелести ночлега
в неудобствах разной масти.

Список их болячек длинный:
стены сплошь покрыты цвилью,*
окна в сетках паутины –
разрушения засилье.

За окном легко и просто:
хохот, шутки, щебет птичий...
Я б хотел умерить поступь
здесь, средь этого величья.

ЗАКАТ

Посмотри ты, как солнце, покрытое мглой,
в горизонт уплывает.

*Цвиль (укр.) – плесень

Обними меня крепче и к плечу головой
прислонись, дорогая.

Небеса бесконечны – голубое радушьё –
облаков бригантини.
Пусть они приютят наши чистые души –
мы с тобою едины.

Облака понесут наши души свободно, –
ветру легкому вторя.
Их на землю затем возвратят беззаботно,
не умаявшись – вскоре.

Мы с тобою на небо часами глядели –
в незнакомые дали.
Хоть скитанья назначены нам и метели –
мы заранее знали.

И, как прежде, мы смотрим на небо с надеждой,
словно ждем подаянья.
Но придет ли сигнал из пустыни безбрежной –
солнца ярким сияньем?

Мы с тобою вдвоем, никого с нами рядом –
перед кем виноваты?
Утешаем друг друга лишь ласковым взглядом
на чужбине проклятой.

ЗАДЫХАЕТСЯ ЛЕТО...

Задыхается лето. Осень всю золотым
и рубиновым цветом
украшает природу по законам своим...
Задыхается лето.

Парк спокойно уснул и влюбленных не видно –
только клин журавлиный
провожаю я взглядом, хоть за лето обидно,
в путь извилистый, длинный.

Там, нагрянет зима с беззастенчивой вьюгой,
прорываясь к окошку...
Сироте починю прохудившийся угол,
заготовлю картошку.

* * *

Подари благословенье –
заслони от всех напастей.
Я уткнусь в твои колени –
оценю твое участие.

Лишь тебе открыть могу я
сокровенных мыслей тайну,
что отнюдь не интригуя
обошла меня случайно.

Слышал – есть любовь на свете.
Я ее не знал, не ведал,
что она всех ловит в сети
и несет восторг победы.

Мне она терзала душу –
приходила в сон нервозно.
Днем – обет она нарушить
не желала. Нынче ж – поздно.

Дай, как мать, благословенье.
Заслони от всех напастей...
Я хотел бы, тем не менее,
испытать немного счастья.

(с иврита)

Из Стефана МАЛЛАРМЕ

ВЗДОХ

Сестра! К твоей мечте, чьи молчаливы трели
и осень сеет нам веснушек пуантели,
и к взгляду глаз всегда в тревоге и печали,
пытаюсь я дойти, не замечая дали.
Где в небеса фонтан уносит струй обоймы,
в лазурь, что в октябре ведёт себя достойно:
привет прощальный шлёт полотнам водоёмов, –
опавшую листву в паденьи невесомом,
да лучик солнечный, что жалобно мерцает
и слабый ветерок, что туч тревожит стаю.

ТРЕВОГА

Я здесь не для того, чтоб овладеть тобою.
Мне это ни к чему. Мне это не впервой.
Ты знаешь всё сама. Я от тебя не скрою –
я здесь, чтоб от греха избавить нас с тобой.

Мы окунёмся в сон. В счастливый сон младенца.
Реальность зачеркнув и мысли утомив.
Ты насладишься сном спокойным, как блаженство.
Солжёшь мне, что нашла загробный лейтмотив.

Порок нас наказал, оставив без потомства,
но щедро наградил тоскливой маетой,
и сердца перебой у нас в груди глухой
укажет нам – за что такое вероломство.

Боюсь, что не проснусь, когда я сплю один.
Мне саван грезится в спокойствии гардин.

Из Сюлли ПРИУДОМА

ИДЕАЛ

Луна обычный держит путь
под стражей звёздного эскорта.
О, как мне хочется взглянуть
на ту, что облик носит гордо.
И свет таинственной звезды,
не менее созвездий громких,
оставит яркие следы
и отразится на потомках,
которые расскажут ей,
что предок их, в часы заката,
считал, что нет её светлей
и был влюблён в неё когда-то.

(с французского)

Игорь Гуревич

Из книги Нелли ЗАКС «Бегство и превращения»

* * *

Это – тьма и дыханье Содома.
Ниневии тяжелое бремя.
Это – раны, молитвы и стоны
на вратах, охраняющих Время.

Это – клинопись древней страны,
что поднялась до светлого неба.
Это – звуки далекой войны.
Это – строки печальной легенды.

Это – мед, сохраняемый в сотах.
Это – святость прошедших эпох.
Это – гены наследий жестоких.
Это – иносказательный слог.

Это – очи тысячелетий,
древо Боли в застывших зрачках.
Это – снег чернотой светит,
не растаявший в наших руках.

Это – горечь кристаллами стала
от напрасных молитв и от слез.
Это – мы тверже камней и стали –
вновь восходим на свой эшафот...

* * *

Это – Он,
мановением шлейфа
разверзавший
пред нами пучины,
разделявший
для Вечного Дрейфа
разрозненные
две половины.

Это – Боли Созвездия
наши.
Это – ветром звенящий песок.
Это – Он,
верой путь озарявший,
но изгнавший нас
Ближний Восток.

И несомые ветром
песчинки –
это – тоже всегдашние Мы, –

так решил Он, –
но свет исполинский
поглощает
безбрежностью тьмы.

* * *

Большое с малым
так неразделимы,
как непрерывен
превращений ход,
крыло, плавник,
в движении незримом
сковал молитв
рассыпчатый песок.

Ведь даже бабочка —
и та вернется в море,
чтоб отпечатком
в мокром камне стать,
и, может быть,
забыв о нашем споре,
мне доведется
камень тот достать

и разгадать
секреты превращений,
и тайный смысл
нечитанных молитв,
вернуть свою
страну из сновидений, —
ведь до сих пор
душа по ней болит...

Аминь тому,
что совершилось с нами,
аминь ветрам,
окутавшим платком,
как я стихи
искомыми словами,
все превращения,
что сбудутся потом...

* * *

Храни меня, дыханье ночи,
Мой краткий временный приют,
Под крышей звездною непрочной
Позволь немного отдохнуть.

И может быть, из неба слезы,
Что вижу в плоскости окна,
Хранят в себе и роскошь розы,
И тайны хлеба и вина.

Не разгадать мне их секретов,
И тайн забвений не понять,
Но точно знаю: смерти нету,
Стремлений жизни не унять.

И неизменны возрожденья,
Как после бури тишина,
И длятся вечно превращенья,
И непрерывны времена.

Храни меня, дыханье ночи
Под неба крышею непрочной...

* * *

Я отведу все беды от тебя,
когда еще о них ты и не думал,
когда вдали сплетает их судьба,
но все вблизи звенит
веселым шумом...

Я отведу все беды от тебя,
хоть ничего взамен не ожидаю.
Пускай гудят тоскою провода,
мои стихи тебе не отсылая.

Любовь-цветок,
родившийся из пыли,
увенчанный короной ожиданий,
в которых больше
вымысла, чем были,
моих тобой
неслышимых признаний...

Я отведу все беды от тебя...

Известно, первым было СЛОВО,
И я оттуда, из него,
И на весах изгнаний новых
Между «ВСЕГДА» и «НИЧЕГО»
Несу его я на ладонях
Под сенью дрящейся ночи,
Под блеском звезд, неугомонно
Дарящих мне свои лучи,

Над тенью лет, прожитых мною,
Над пылью всех поспешных дней,
Несу его перед собою
Как символ вечности своей...
Слабы ладони, руки зыбки,
Как память юности моей,
Как лицемерные улыбки
Врагов, похожих на друзей.

Но исчезает тяжесть тела,
Летя в ночные облака.
Но в жестах рук и в каждом деле
Жива давнишняя тоска
По той, оставленной когда-то,
Родной единственной стране,
И светлячком зеленоватым
Она в мечтах мерцает мне.

И вновь влечет меня обратно,
И СЛОВО снова мне звучит,
Мой властелин невероятный,
Мое паденье, мой зенит...

**Из книги Пауля ЦЕЛАНА
«Роза для никого»**

ДВОЕТОЧИЕ

Под ропот слов
моих ночных,
дозорами идущих
через звуки,
ты, Двоеточие,
две точки небольших,
открой и мне
приветливые руки.

Да,
нелегко тебе.
Ты – пауза пред тем,
что говорит
о подлинном
признании,
ты – разделенье
двух различных тем,
и о других
воспоминанье.

Ты осязаешь
все тысячецветья
того, что
совершилось навсегда...
Ты – ветер времени,
летающий сквозь
столетья...
Ты – лет прибежище,
преддверье Никогда...

ОКНО ХИЖИНЫ

Так было на свете темно,
так темно,
как в хижине тесной
мерцанье в окно,
как Дальний Восток
в буре снежной и шторме,
как горести, ставшие
издревле нормой.

Что было когда-то
во чреве надежды,
уходит, уходит
в Былое и Прежде,
но верится все же,
нам тоже дано,
всему вопреки,
и для счастья окно...

Евреи – другие.
Они не с Земли.
Они с облаков
невесомых сошли.
Как ты и как я,
с именами и снами,
с дыханьем сиротским,
с тревожными днями.

Но ангел недобрый
тяжелым крылом
опять окропляет
их снежным дождем.
Напильником ржавым
он пилит их души...
Ах, Витебск родимый,
не слышишь? – Так слушай:

И в гетто, и в рае,
в соцветиях звезд
им путь уготован

один: на погост.
Но нет! Человеку
дана жизнь не зря,
как веку и дню
Пробужденья заря!

Поэтому в каждой
душе и в жилище
теплятся надежды, --
их многие тыщи!
И буквами каждой
бессмертной души,
как Алеф и Юд
прорастают в тиши,

Давида щитом,
и несказанным словом,
стремленье гореть
возгоранием новым.
Твой Алеф с тобою.
И рядом твоя Юд.
Они пробужденья
бессмертью дают, —

И ты с именами
другими сгораешь,
свой путь неустанно
опять повторяешь,
ты в доме, ты рядом
за каждым столом,
искрящимся взглядом
и солнца лучом.

* * *

Колеблется небо
трусливою шкурой.
Ты был или не был
веселым? Иль хмурым?

Ты стал черно-белую
пылью? Цветною ль?
Так что же поделать
теперь мне с собою?

Мне памятно много.
До горечи жаль:
я здесь, я в дороге.
Ты – в небе журавль...

(с немецкого)

Станислав Львович

СЛОВА! СЛОВА! СЛОВА!

из Гюнтера ГРАССА

В начале – в первый месяц – мы знали точно,
что точно ничего не знали!
И лишь Утроба все за нас решала –
будучи всегда правой.
Во втором месяце тасовали свои желания
и нежелания, произносимое и умалчиваемое...
В третьем месяце появилось нечто
телесное, но никаких новых слов –
повтор и только...
Когда же четвертым месяцем начался Новый Год
– и только в этом была единственная новизна,
слова все же оставались прежними, уставшими,
многократно использованными –
хотя и заслуженно...
В пятый и шестой месяцы писалось как бы со стороны...
Но на седьмом месяце все же пришлось закупить
новые – более просторные – одежды, хотя и они
оказались тесны... И так было обидно
за бесполезность третьего месяца...
И лишь когда прыжок (через канаву) свелся
к тривиальному падению («так надо было прыгать,
или стоило подождать») разговор перешел
на шепот и заикание...
Восьмой месяц принес сплошные огорчения:
виновны слова из второго и четвертого месяцев –
пришлось расплачиваться...
На девятом месяце нас доконало ДИТЯ,
беззаботно появившееся на свет...
Все слова исчерпались полностью...
Пошли телефонные поздравления...

(с немецкого)

ЭДГАР ХИЛЬЗЕНРАТ

«НАЦИСТ И ПАРИКМАХЕР»

Глава из романа

Меня зовут Макс Шульц, я внебрачный, хотя и чистейших кровей ариец, сын Минны Шульц, до самого моего рождения служившей горничной в доме еврея Абрамовича, торговца мехами. В моем чисто арийском происхождении нет никакого сомнения, так как генеалогическое древо моей матери можно проследить если не до битвы в Тевтобургском лесу, то, по крайней мере, до Фридриха Великого. Кто был моим отцом, я точно сказать не могу, но, несомненно, одно – он был одним из пятерых: либо мясник Хуберт Наглер, либо слесарь Франц Хайнрих Виланд, либо подмастерье Ханс Хубер, либо кучер Вильгельм Хопфенштанге, либо, наконец, слуга Адальберт Хеннеманн.

Я тщательнейшим образом изучил генеалогические заросли всех моих пятерых отцов и уверяю вас, что незамутненное арийское происхождение всех пятерых не подлежит сомнению.

Что же касается генеалогии слуги Адальберта Хеннеманна, то тут я даже гордостью пренебрегаю. Дело в том, что один его предок по прозвищу «Хаген-Хранитель Ключа» был оруженосцем прославленного рыцаря Сигизмунда фон дер Вайде. Этот рыцарь, господин и повелитель Хагена, в знак высочайшего доверия вручил ему некий ключ, а именно – ключ от пояса целомудрия своей женоушки, золоченого пояса верности, который позже, при дворе великого короля получил широкую известность и стал поводом для пересудов и сплетен.

Итциг Финкельштейн жил в соседнем доме. Ему было столько же лет, сколько и мне. Или, если быть точным, он увидел белый свет через две минуты и двадцать две секунды после того, как акушерка Гретхен Феттванст в два счета высвободила меня из темной материнской утробы, если, конечно, мою жизнь можно назвать освобождением, что, в конечном итоге, весьма и весьма спорно.

Через два дня после появления на свет Итцига Финкельштейна „Еврейское обозрение“ нашего силезского города Висхалле поместило такое сообщение:

«Я, Хаим Финкельштейн, парикмахер, владелец Салона-парикмахерской «Светский человек», угол улиц Гете и Шиллера в Висхалле, председатель еврейского Кегель-

клуба, заместитель генерального секретаря «Еврейской общины», член общества «Охраны животных», объединения «Любители растений», член Лиги «Возлюби ближнего», «Объединения парикмахеров» города Висхалле, автор брошюры «Стрижка без лестниц», объявляю о рождении моего сына и наследника Итцига Финкельштейна.

На следующий день в том же Обозрении появилась заметка следующего содержания (привожу ее полностью):

«Мы, Еврейская община города Висхалле, рады сердечно поздравить господина парикмахера Хаима Финкельштейна, владельца собственного Салона-парикмахерской «Светский человек», угол улиц Гете и Шиллера, председателя еврейского Кегель-клуба, заместителя генсекретаря Еврейской общины, члена общества «Охраны животных», Объединения парикмахеров города Висхалле, автора брошюры «Стрижка без лестниц», с рождением сына и наследника Итцига Финкельштейна».

Можете себе представить, что сказала Хильда, эта дурында Хильда, домработница Финкельштейнов, госпоже Финкельштейн, когда в «Еврейском обозрении» появилось объявление о рождении маленького Итцига?

– Госпожа Финкельштейн, – сказала она, – я что-то плохо понимаю... Конечно, радость, когда после двадцати лет бездетного замужества – вдруг ребенок. И все же эти объявления о рождении маленького Итцига – это немного слишком! Что - что, но господин Финкельштейн вовсе не хвастун. Он всегда был таким скромным!

Дурында Хильда... Два метра длины, два метра худобы, птичье лицо, волосы как смоль...

Сара Финкельштейн – маленькая, кругленькая, на носу пенсне, венки сероватых волос, хотя совсем еще не старая была. И вообще она выглядела какой-то пропыленной, как выцветшие фотографии в их старомодной гостиной.

Хаим Финкельштейн – еще меньше ростом, чем его жена, только не кругленький, как она, а изможденный маленький человечек с кривоватым левым плечом, будто на этом плече висел груз двухтысячелетнего исхода, ярмо двух тысяч лет страдания. И ведь это левое плечо, которое совсем рядом с сердцем! Нос Хаима Финкельштейна трудно описать. Я бы сказал, нос его был какой-то отсыревший, вечно красный от хронического насморка. Его нос не был ни длинным, ни крючковатым. Нормальный нос. Для него нормальный. И плоскостопия у него не было.

Волосы? Были ли у него волосы? У Господина Финкельштейна? Нет! Волос у него не было. Зато у Хаима Финкельштейна, этого крохотного человечка, были выразительные глаза. Кто видел эти глаза, на лысину уже не обращал внимания. И на красноватый нос тоже, хоть он и был всегда мокрым, и на плюгавый рот тоже. Глаза его были большие, ясные, добрые и – мудрые. Из глаз Хаима Финкельштейна лился свет библейских заветов, а его сердце было полно сострадания к людям.

Да, таким был Хаим Финкельштейн, еврейский парикмахер из города Висхалле.

23 мая 1907 года в доме Хаима Финкельштейна произошло знаменательное событие: обрезание Итцига Финкельштейна.

Думаю, вы знаете, что такое обрезание, и что вы, если вы еврей, не только обсле-

довали с пристрастием свой изуродованный детородный член, но и порой задумывались над символическим значением теперь отсутствующей крайней плоти. Прав я?

Обрезание есть знак связи между Богом и народом Израилевым, знак, который еще называют, Брит Мила. Как добросовестный читатель Лексикона, я констатирую, что обрезание еврейских мальчиков есть акт символической кастрации, символизирующий обновление, улучшение человека, обуздание его животных инстинктов и страстей... символический акт, который я, как массовый убийца, не вполне одобряю.

В день обрезания Итцига Финкельштейна в доме Финкельштейнов царило праздничное настроение. Салон-парикмахерская был закрыт по этому случаю. Служанка Финкельштейнов дурында Хильда попросила мою мать помочь ей немного, так как ее двух рук было недостаточно, и моя мать, будучи соседкой отзывчивой, пошла в дом Финкельштейнов помочь дурынде Хильде на кухне. В честь такого события были наготовлены горы еды: тут были и медовики, и яблочные пироги, и лепешки с изюмом и миндалем, и много других вкусностей. Не было недостатка и в шнапсе, и моя мать и эта дурында Хильда, которые ничего не имели против крепенького, попивали себе за здоровье евреев и маленького Итцига Финкельштейна, а заодно разгоняя грусть-тоску.

Единственное, чего не могла понять моя мать, почему это в доме так много гостей и что это за праздник за такой, который так пышно отмечается. Она спросила дурынду-Хильду, что все это значит? Та засмеялась:

– Что это значит? Да нашему маленькому Итцигу сегодня восемь дней, поэтому ему сегодня обрезали хвостик. Так уж у евреев заведено – именно на восьмой день после рождения.

– Ужас какой, – сказала мать, – ведь теперь малыш не сможет писать а позже и сношаться.

– Совсем и не ужас, – ответила дурында-Хильда. – Хвостик отрастет. И подробно объяснила, как все происходит:

– Послушай, Минна, – сказала она, – дело вот как обстоит: есть тут один малый, которого они называют Мохель. У этого Мохеля есть длинный нож, заточенный с двух сторон. Им он и обрезает хвостики маленьким евреям. Потом пробормочет пару волшебных заклинаний – и обрезанный хвостик отрастает снова, ни длинный, ни короткий, а как раз такой, какой нужен, толстенький и крепенький. Потому-то у евреев и детей, как грибов в лесу.

– Чудно как-то, – сказала моя мать. – Такого я еще не слышала.

– Делают это в знак связи народа Израиля с Богом, – сказала дурында-Хильда, – по крайней мере, так выразился сам господин парикмахер Хаим Финкельштейн. Да и господин раввин, он новенький у нас, утверждает то же самое. Он говорил о каком-то пророке, кажется, о Иеремин, который якобы сказал евреям: „Делайте обрезание во имя Бога нашего и освобождайте сердца ваши от крайней плоти.“

– От крайней плоти? – спросила мать.

– Ну да, от крайней плоти, – подтвердила дурында-Хильда.

– Значит они обрезали маленькому Итцигу не всю штучку, а только эту самую крайнюю плоть, ну как с сердцем!

– Конечно, – сказала дурында-Хильда. – Да ты хвостик с сердцем не ровняй. Хвостик, даже если его немного и обрежут, отрастет снова, это я тебе уже объясняла.

Хильда улыбнулась, а моя мать покачала головой и сказала:

– Чего только люди не придумают! В голове не уместается!

– А сколько твоему маленькому Максусу? – спросила дурында-Хильда.

– Восемь дней, – ответила мать, – ему столько же, сколько и крошке Итцигу, или точнее, мой на две минуты и двадцать две секунды старше.

– Да я бы на твоём месте тоже ему хвостик обрезала, – сказала Хильда-дурында.

– Смотри, Минна! Хвостик снова отрастет, как и у евреев, и будет тоже ни слишком длинный, ни слишком короткий, а нужной длины и к тому же необыкновенно толстый и крепкий.

Вы, вероятно, в этот самый момент спрашиваете, откуда я все это так точно знаю? Однако я, при всем моем желании, сказать вам этого не могу.

После завершения обряда обрезания Итцига Финкельштейна взволнованная моя мать побежала домой, подняв по тревоге всех моих пятерых отцов, вытащила меня тепленького из колыбельки и разложила на кухонном столе с намерением обесчленив меня или, по крайней мере, укоротить.

Абрамовичей дома не было и я, бедненький, такой беспомощный, беззащитный червяк, был полностью в их власти. Я будто предчувствовал недоброе, потому что орал как угорелый, и ни моя мать, ни пятеро отцов не могли меня успокоить. Слесарь крепко держал мои ручки, подмастерье ножки, моя мать совала мне пустышку в рот, швейцар и кучер толклись тут же, оглушенные происходящим. Резник, этот мясник, ухмыляясь, уже занес надо мной длиннющий нож.

– Не обрезай его, – вдруг сказала моя мать. – Это шутка была.

– Никаких шуток, – отрезал мясник. – Все абсолютно серьезно.

– А что если потом у него не вырастет? – сказала моя мать. – В конце концов, он не еврей. И, кроме того, здесь нет Мохеля, чтобы волшебные слова произнести.

– Срать я хотел на вашего Мохеля и на его заклинания, – ерепенился мясник.

– Не делай этого, иначе мы все угодим в тюрьму.

Мясник как раз хотел ухватить мой кончик, но тут произошло нечто странное. Я, Макс Шульц, всего восьми дней от роду, возопив, прыгнул ему на грудь и впился в него своим беззубым ртом, потом, скатившись на пол, с быстротой молнии подполз к окну, вскарабкался на подоконник и впервые в жизни увидел улицу, вполне обычную улицу со сточными канавами и булыжником, с кирпичными домами под разноцветными крышами, увидел повозки и множество двуногих и четвероногих существ; увидел и небо, пепельно-серое и черное, с провисшими волглыми тучами, увидел кружащихся птиц, а не ангелов, совсем не ангелов и заорал еще сильнее.

Внизу, на улице, люди засуетились, забегали. Кто-то крикнул:

– Черт возьми, что там наверху случилось?

И моя мать, подошедшая тем временем к окну и взяв меня на руки, в ответ крикнула:

– А что, собственно, должно было случиться?

Вы можете подумать, что я потешаюсь над вами. А если и не подумаете, так просто скажете: „Макс Шульц сумасшедший. Ему показалось, что его захотели убить, потому что он внебрачный ребенок, ублюдок, и обрезание только предлог, хотя у евреев обрезание – дело обычное: его делают всегда на восьмой день после рождения. Так чего же хочет Макс Шульц? В чем хочет убедить? На кого взвалить вину? На свою мать? На евреев? Или на Бога? И что это еще за самооборона грудного младенца!? Его протест, эти его впечатления от увиденного из окна. Чепуха! Такого не бывает. Это страшный сон! И ничего больше!“ Да не убедить я вас хочу, а только рассказать мою историю, так сказать, в хронологическом порядке, хотя рассказываю я вам совсем не все, а, как говорится, самое главное, или, по крайней мере, то, что я, Итциг Финкельштейн, в прошлом Макс Шульц, считаю самым главным.

Мои пятеро отцов навещали мою мать каждый вечер. Они становились в очередь перед ее дверью. Первым обычно входил мясник, он был сильнейший, потом слесарь, потом подмастерье, потом кучер и уж совсем потом лакей. Да, лакей был всегда последним, потому что был самым слабым, самым застенчивым, с писклявым голосом. Ему ничего другого не оставалось, как купать свой член в семени других четырех отцов.

Еврейскому меховщику Абрамовичу совсем не хотелось, чтобы я, Итциг Финкельштейн, в прошлом Макс Шульц, смог что-то понять. Меховщик Абрамович ничего не имел против меня или против самого факта моего существования, так как с давних пор был убежден, что являюсь сыном либо его кучера Вильгельма Хопфенштанге, либо его слуги Адальберта Ханнеманна. Как никак, а оба принадлежали одной семье. Но когда продавец мехов узнал истинное положение вещей, произошел скандал. Он категорически заявил моей матери:

– Послушайте, Минна, так дальше продолжаться не может. Я-то думал, что это были только мой кучер и мой слуга. Но пятеро в очереди – это слишком! В конце концов, это приличный дом. – Бог троицу любит, – сказала моя мать. – Но не пятерых же, – парировал меховщик, – определенно не пятерых. Это приличный дом и я вынужден вас уволить.

2

В один дождливый июльский день (мне как раз исполнилось семь недель) моя мать упаковала пожитки, взяла меня на руки и покинула дом Абрамовича. Пятеро моих отцов, само собой, помогали собирать вещи. Багаж моей матери состоял из трех чемоданов, рюкзака, сетки-авоськи и зонтика. Мясник нес самый тяжелый чемодан – желтый из дерева кофр с железным замком и задвижкой; слесарь – чемодан коричневый; подмастерье – чемодан, обтянутый голубой парусиной; кучер нес рюкзак; слабый слуга плелся позади с зонтиком и нежно-зеленого цвета авоськой, битком

набитой продуктами и другими полезными вещами, как, например, подвязками для чулок, щипцами для завивки волос, ленточками и прочим барахлом.

Вам необходимо представить мою мать, женщину крепкого сложения, про которую люди говорили, что весит она две тонны, хотя ноги у нее были стройные. Она выглядела, как ходячая пивная бочка на ходулях, и ходули эти (как им это только удавалось!) с достоинством носили ее огромное тело. Нельзя не упомянуть ее роскошные русые волосы, серо-голубые глаза и чуть вздернутый нос, смешной, как и ее двойной подбородок со светло-коричневой родинкой. У нее были чувственные губы. Зубы белые и крепкие, зубы, про которые мясник, всякий раз впадая в экстаз, говорил моей матери: „Послушай, Минна, когда я вижу твои зубы, меня охватывает страх, что ты однажды можешь откусить мне член.“ На что моя мать с нежностью отвечала: „Ах, глупости, Хуберт, такое могло бы случиться только со слугой Адальбертом Хеннеманном, потому что у него он всегда такой сонный. То, что твердо как сталь, не так-то просто откусить. Или ты думаешь, что я хочу рисковать своими зубами!

– Нет, Минна, – возражал мясник, – что ни говори, а с твоими зубами шутки плохи.

Когда мы покидали дом Абрамовича, я мирно спал на руках моей матери. Но когда наш табор проходил мимо Салона Финкельштейна, я вдруг проснулся и начал орать. На мой крик из Салона-парикмахерской стрелой выбежал Хаим Финкельштейн, не смотря на то, что только что намылил щеки посетителя, и Хильда-дурында высунулась из окна во втором этаже и, увидев нашу процессию, поспешила на улицу. Уж и целовали меня, и тотощкали – все бесполезно. В конце концов моя мать сказала:

– Ну просто не знаю, что с моим ребенком, господин Финкельштейн. Ваша парикмахерская свела его с ума.

– Что значит „парикмахерская“! – сказал Хаим Финкельштейн. – У меня не парикмахерская, у меня Салон.

– Ну, значит, Салон свел его с ума, – сказала моя мать. – Иначе бы он так не блажил.

– Пойдем, Минна, – сказал мясник. – Нечего разговаривать так много с евреем. Кроме того, сундук очень тяжелый.

– Да, нам нужно идти, – сказал слуга. И с ним согласились остальные мои отцы.

Мы не знали, куда нам идти. Салон Хаима Финкельштейна, как я уже говорил, находился на углу улиц Гете и Шиллера. Мясник непременно хотел остаться на улице Гете, думаю, в основном, из-за „Лесного царя“, хотя я не уверен, читал ли он это гетевское стихотворение. Может, мясник что-то слышал о дикой скачке сквозь ночной лес, или об отце и сыне, или о норовнстом коне, и эти детали запечатлелись в его памяти. Однако слуга, который любил „Колокол“ и даже по временам цитировал из великой шиллеровской поэмы: „Я сдвинуть рояль не могу ни на йоту, он будто бы намертво к полу прирос...“, так вот, слуга непременно хотел, чтобы мы остались на улице Шиллера. Моему третьему отцу было все равно. Квалифицированный слесарь полагал, что быть слесарем на улице Гете ничуть не лучше, чем на улице Шиллера. Подмастерье

согласился, сказав: „Да, в домах на улице Шиллера клопов столько же, сколько и на улице Гете.“ Кучер Вильгельм Хопфенштанге твердо стоял на том, что булыжные мостовые обеих улиц одинаково в колдобинах, усыпаны битым стеклом и прочим мусором. Спорили бы, вероятно, еще долго, если бы не моя мать, которая вынесла окончательное решение. Она сказала:

– Для начала перейдем на другую сторону улицы.

Вы знаете немецкий город Вискхалле? Улицы кривые и узкие, такие узкие, что по другую сторону не только все видно, но можно даже расслышать, о чем говорят люди перед Салоном „Светский человек“.

Итак, на другой стороне улицы стоял Антон Славицкий. Антон Славицкий, растлитель детей. Стоял и, ухмыляясь, наблюдал за передислокацией нашего табора. Антон Славицкий по профессии был парикмахером, как и Хаим Финкельштейн, только далеко не такой хороший. Его парикмахерская (а вовсе не Салон, на Салон его заведение не тянуло) находилась как раз напротив салона „Светский человек“. Таким образом, оба парикмахера, Финкельштейн и Славицкий, могли любоваться друг другом из окон витрин своих предприятий, что они частенько и делали: Финкельштейн – с улыбкой превосходства, Славицкий – ядовито-завистливо.

Славицкий?... Был он долговяз и тощ, с дремучими бровями, с глазами пропойцы, немного косящими, жирными волосами, костистым носом и членом такой длинны, что, как гласила молва, он свисал ниже колен, и что, так говорили люди, и, видимо, не без оснований, Славицкий всегда приторачивал его к бедру при помощи резинки.

Мы пересекли улицу. Когда процессия наша плелась мимо парикмахерской Славицкого, мой пятеро отцов, кряхтя под тяжестью поклажи, моя мать, эта пивная бочка на тонких ходулях со мной на руках, уже не орущим, а совсем спокойным, как раз собравшимся малость соснуть, так вот, когда мы следовали мимо Славицкого, не обращая на него никакого внимания, именно в этот момент Славицкий вдруг сделал шаг вперед и ущипнул мою мать за пышный зад.

Моя мать встала, как вкопанная. Она сказала:

– Что это вы вздумали! Я приличная женщина.

Славицкий аж занкаться начал. Да, да. Он заикался, бормоча какие-то нелепые извинения, а моей матери это нравилось и она сказала:

– Ну, да ладно, все нормально. Ни один мужчина не оставался равнодушным к моему заду. А что вам во мне больше всего нравится?

И Славицкий ответил:

– Мне тоже ваш зад.

– Однако! – улыбнулась моя мать.

Славицкий сказал: „Сударыня! Если вы захотите иметь модную прическу, я сделаю ее вам бесплатно, хотя я и не дамский парикмахер.

– Последний крик? – спросила моя мать.

– Самый последний! – ответил Славицкий.

– Ловлю вас на слове, – продолжала кокетничать моя мать. – И когда же вы

намерены постричь меня? Задаром, конечно.

– Как только вы пожелаете, я готов всегда, – сказал Славицкий.

– Хорошо, – сказала мать, – тогда не будем откладывать доброе дело в долгий ящик. Прямо сейчас – самое время.

И моя мать исчезла со мной вместе в парикмахерской Славицкого.

Пятеро моих отцов терпеливо скучали перед дверью, но по прошествии двух часов мясник сказал другим моим отцам: «Минна больше не выйдет. И ничего удивительного в этом нет, потому что у него самый большой член на улице Гете. «Включая и улицу Шиллера», – добавил слуга. И слесарь туда же: «Самый длинный и самый толстый. Это всем известно. Да и ебарь он отменный». Подмастерье сказал: «Да, все правильно. Но ведь он же поляк. И это самое опасное». А кучер Вильгельм Хопфенштанге кивнул и сказал: «А кроме того, он вдовец. А это еще опаснее.»

Пятеро моих отцов потолклись еще немного перед входом, потом поставили багаж у двери парикмахерской Славицкого, перекрестились и отчалили.

Убожество и беспорядок – других слов я не нахожу, чтобы описать парикмахерскую Антона Славицкого. Мутное зеркало, облупившееся кресло с продавленным сиденьем, с проступающим, словно ребра, деревянным остовом, в ржавых потеках единственная раковина, обшарпанные стены, выщербленный пол, тусклое освещение, все замшело, все запущено. За занавеской – кухонная ниша и в ней дверь, ведущая на задний двор, где находился сортир. Парикмахер Хаим Финкельштейн и его постоянный клиент, продавец мехов Абрамович, называли клиентуру Славицкого „люмпен пролетариями“.

Пожитки Славицкого были рассованы по трем комодам, стоявшим вдоль стены, в которой и была дверь, ведущая во двор. Славицкий утверждал, что когда еще жена была жива, у него была собственная квартира, но это было давно. Теперь он жил в парикмахерской. – Да и зачем одинокому вдовцу квартира, – сказал Славицкий моей матери. – Я ставлю раскладушку на ночь, а утром убираю ее, понимаете, госпожа Шульц? Вот так и живу.

– Понять я могу, – сказала моя мать, – но если вы хотите, чтобы мы с Максом здесь остались, нужны перемены. А именно – нам нужна квартира.

– Ну хорошо, – сказал Славицкий, – всему свое время...

(с немецкого)

Альфред Ходорковский

Из Андраса ВАРГА

*Безымянным младенцем должен был автор
этих стихов умереть в газовой камере, разделив
судьбу полутора миллионов детей своего народа.
Но чудом он остался жить. В стихах он пишет о
магической силе любви, о ее победе над жестокостью
мира. Андрас Варга родился в Венгрии В 1944 г.
С 1971 г. живет в Германии. Преподает в одном из
Берлинских университетов.*

ПОСЛЕДНЕЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

Когда ночи печальной и старой приходит конец
И луч солнца с утра освежает меня,
Птичья песня летит с цепи гор голубых,
Я лелею твой взгляд в первых проблесках дня.

Мягкий голоса шелк успокоил меня в этот час.
Как мелодии ритм утомившийся утренний бриз.
В светлосером тумане твое, моя фея, лицо ?
Вместо жалкой агонии вновь возвращается жизнь.

Но как только растаял очей твоих ласковых свет,
будто небо в грозу потеряло свой лик голубой.
Мои жгучие раны уже не излечит никто ?
Ты уходишь одна навсегда, унося мой покой.

Если я хоть еще раз с тобою проснусь поутру,
В глубине наших общих страданий и бед,
Прежний смысл все стихи мои вновь обретут ?
На интриги и ложь мы наложим запрет.

СИНАГОГА В ГОРЛИЦЕ

Я молюсь здесь один,
мои сестры и братья родные
силою изгнаны были отсюда
и безжалостно преданы смерти.

Здесь я только один перед Богом,
больше некому, кроме меня,
говорить со Всевышним.

Я был Верностью,
Он был Любовью.
Мы друг с другом
навек нераздельны,
ведь без Верности
нет и Любви.

ПЫЛАЮЩИЕ ОБЛАКА

Небо, небо горит,
и горят облака,
твердь земная горит,
и вода, и воздух.

Книги тоже горят,
И к поэтам уже
Подбирается пламя
Все горит! Все горит!

В одном саду
горит мой стих,
рожденный матерью Любви,
скорей терпимый, чем любимый,
недолг век его;
на счастье,
не обнаруженный никем!
Ведь только тот,
кто схоронился,
тот пережил

беззвучно в сердце
невидимую бурю доброты.

Поэты тоже плачут,
когда пылают их творенья,
на куче мусора смешавшись
с листвою опавшей,
исходит дымом серо-белым
душа поэта.

Горит, горит
не совесть —
кости, кровь и тело,
зажженные пламенем страха,
горит негасимо
безграничное пространство
и бесконечное время,
и в них исчезают
в завистливой пасти огненного осла
буквы моих строк.

Горит,
все горит беспощадно,
а пепел мне шепчет
без рифм:
«Наш мир одинок,
в нем забыты давно
и сам Бог, и Любовь.
Лишь с душою душа
друг на друга идут,
и не знает никто,
что в сражении том
победителей нет».

Горят деревья,
горят цветы,
горят книги,
горят ведьмы,
горят реки,
горят горы.
Горит, горит.

Горит снег на вершине,
растут языки пламени,
достигая вечноглубого неба
и обугливая его.
Горя облака,
и ни одна слезинка
не падает вниз.
Горит Любовь,
Ненависть и Боль:
моя книга горит,
все горит,
весь Мир горит.
Но на Земле,
исполненные Надежды,
еще поют вешние колокола.

ЛЮБОВЬ И ПРОЩЕНИЕ

К Богу
Ты летний зной
и зимний холод
труд, изнуряющий до пота,
и жажда истинной свободы

«Arbeit macht frei»

Ты совести крик
негасимое пламя
ты розы шипы
и сверканье молний
ты грома раскаты
стремление к забвенью
и вечная память
любовь и прощенье
ты то, что ты есть...

ПРОШЕНИЕ

*Посвящаю трагическим
событиям «Хрустальной ночи»*

То, что мы ищем,
мы не находим,
то, что находим
не осознаем,
что осознаем,
в то мы не верим,
то, во что верим,
не соблюдаем,
что соблюдаем,
то не теряем,
если теряем,
не сожалеем,
а сожалея,
мы не прощаем,
то, что прощаем,
не говорим.

ПОСВЯЩЕНИЕ КАЛЕЙЕ

Неистово и бурно,
в страданиях сгорая,
тебе свои я строки посвящал,
пытаясь в них
любовь увековечить.

Ты все мои стихи перечитала.
И слов твоих, и мнений непредвзятых –
важнее нет оценки для меня.
Лишь с помощью твоей
я истинную правду узнаю.

Прошу тебя, подруга дорогая,
нас поведи к источнику ее.

Стихам поэта не присуща ложь.
Он ищет смысл, направленность и цель

там, где душа его и разум
находят плодородной почву,
там, где цветы их собственных семян
произрастают, снова расцветая.

ОГОНЬ И ПЕПЕЛ

Вслед за войной приходит мир.
Потери подсчитает слабый,
А сильный позовет на пир.

Когда обиженный прощает,
На смену злу идет любовь,
Хоть слезы на глазах не тают.

И после смерти жизнь продлится,
Тогда совсем исчезнет боль
И Богу станем мы молиться.

Из пепла пламя вспыхнет вновь.
Когда огонь в душе не гаснет,
Согреет сердце он и кровь.

ЧЕТЫРЕ СТУПЕНИ ЛЮБВИ

Родниковый источник нашел я в лесу,
твое тело теперь я от жажды спасу.

Я в саду для тебя сладкий мед собираю.

Там я встречи с тобою дождусь, дорогая.

Соберу для тебя лучший в мире букет,
в твой шатер принесу моей радости свет.

Я отдам тебе все, будто воин в бою:

мою кровь, мое сердце и жизнь свою.

с немецкого

Давид Яновский

Из Маши КАЛЕКО

АВТО(Р)БИОГРАФИЧЕСКОЕ

Была я очень умным эмбрионом
И очень не хотела в этот мир.

Лишь девять месяцев
И десять дней спустя
Я пожалела плачущую мать
И путь в неволю начала искать.

Семь суток с половиною, не меньше,
(Так говорила бабушка, вздыхая)
Стоял наш старый дом под знаком смерти.

Я спрашивала позже много раз,
Как объяснил бы это Зигмунд Фрейд
Или профессор Карл Густав Юнг.

Итак, довольно. В пять часов утра
В июне, в месяц роз,
Под знаком Близнецов,
Я нехотя под звон колоколов
Свой временный покинула приют.

Уже тогда была я всем чужой,
Ребенком, преданным лишь дали, звездам
Да птицам перелетным.

Я на детском фото,
Раскинув руки – крылья, дико рвусь
Из рук у няни.

С самых ранних лет
Хотелось мне куда-то убежать.

И наконец в пять лет я убежала.
Но поймана была я. К сожаленью.

Нет, не понравилось мне с самого начала
Все здесь внизу.

ЗАМЕТКИ

Звон колокольный далекий
Из детства плывет сквозь туман.

Там постоянно ноябрь,
Ангина, тоска и страх.

В подвале живут привиденья,
На чердаке – людоед.

Стены гостиной обклеены
Плюшево - красным «нельзя»

Колокольный звон сквозь мороз.
Темнота, и шепот, и бегство.
Жить, затаив дыханье...

Всегда чужие соседи
И новые диалекты.

Старый «Где же я?» – страх,
Кровать враждебная в «Где-то».
Запах чужого мыла.

Как много сожжено за мной мостов!
Из их золы я создавала каждый раз
Фальшивую родину – феникс.
Но я могла кричать, – И слава богу.

«Не-спрашивай-так-много!» Окна
Закрыты. И опущены все ставни.
Кто там стучится в дверь? – Не почтальон!
Все дети на виду, но их не слышат,

Заплакать страшно. Это риск для жизни.

Мое детство – далекий звон,
Зуд в ногах и тоска по дому.
Целовали лишь на вокзале.
Летом озеро для того,
Чтобы в нем утонуть, а зимою –
Для того, чтоб сломать там ноги.

Были взрослые очень важными.
Открывали ворота лишь в десять.
Звонко пела служанка на улице
И свистела в зелени птица.
Свежевымыт был шарик стеклянный
Серебристо-синего неба.
За воротами было прекрасно:
Там царили любовь и свобода.

Возможно.

ENFANT TERRIBLE

Я украла,
Украла куклу.
Ту, что хотела,
Я не получила.
Три дня рожденья!
А потом –
Ужасная, с чернильными глазами,
Из целлулоида волосы...
Примерно часто хуже,
Чем ничего.
Но у меня есть кукла.
(Украденная)

Enfant terrible – ужасный ребенок (фр.)

«ТОСКА ПО РОДИНЕ», – ПО ЧЕМУ?

Когда говорю я «тоска по родине»,
Я говорю «мечта»,
Ведь старая наша родина
Давно уж совсем не та.
Когда говорю я «тоска по родине»,
Я имею в виду немало:
Ведь я говорю о том,
Что в изгнании нас угнетало.
Мы на родине стали чужими,
Чужой в наших окнах свет.
Только «тоска» осталась,
А «Родины» больше нет.

BLEIBTREU – НАЗВАНИЕ УЛИЦЫ

Почти что сорок лет тому назад
Я здесь жила...И что-то за рукав
Меня хватает в час, когда брожу я
Без всякой цели вдоль Курфюрстендамм.
Привычка – не ищу я ничего,
Но что-то снова тянет меня, тянет...
Я говорю ей: «Будь благоразумна!
Давно не та я! Сорок лет прошло!»
Все клетки тела многократно обновлялись
За сорок лет в изгнании, на чужбине.
Нью-Йорк, Центральный парк и Гринвич-Виллидж,
Минетта-стрит и Голливуд, и Цюрих,
Потом в Израиле еще Иерусалим.
Чего ты хочешь от меня, Bleibtreu?
О да, я знаю! Не забыла ничего.
Здесь дома жило мое счастье. И беда
Здесь сын родился. И пришлось бежать.
К нам в гости приходили здесь друзья.
А также и гестапо. По ночам
Мы слышали шум поездов S-бана
И пение «Хорст Весселя» из кнайпы.
Что от всего от этого осталось?
Цвет розовый петуний на балконе,

Писчебумажный магазинчик рядом,
И старая незаживающая рана.

Wleibtreu – будь верен (нем.)

ШЕСТАЯ ЖИЗНЬ

Девять жизней имеет кошка,
Я прожила их уже пять.
Первой жизни будто и не было,
Но считать ее можно за две:
Страх, голод и темнота.
Потом появилась любовь
И вера, что день возможен.

Вторая жизнь –
Это плаванье
В лодке по волнам
Юности.

Но третья жизнь началась
И кончилась сразу вторая:
Гроза сотрясала крышу,
Разрывала шелковый полог,
А мы лежали в траве,
Укрытые белым облаком
На голубой земле.

Четвертая жизнь началась
С того, что из двух стало трое.
Это было прекрасной сказкой:
Чудо уже за завтраком
И вечером – волшебство.
Мы мчались сквозь океаны,
Не замочивши ноги,
И падали рядом стрелы.
Зной нас не обжигал,
Укрывал нас ангел-хранитель
Тенью крыльев своих,
И Бог любил всех троих.
После взял он у нас ребенка,

Но тот, кто в саване поспит,
Привыкнет и к нему.

2

Ночь,
Сквозь которую
Ужас
Ползет,

Имеет
И месяц,
И множество
Звезд.

МОЛИТВА

Господь! Вся наша жизнь – лишь интервал.
Из Ничего в Ничто спешим в нелепой жажде.
А наших лет следы размочит бурный вал.
И наше бытие не больше, чем Однажды.

Нет не понять тебе, слепец, немую муку!
За подаяньем и король протягивает руку.
Кто мы такие, чтоб судить и мерить?
Нам суждено лишь действовать и верить.

Позволь, Господь, нам знать, не спрашивая много,
Смиренно без вины прощения просить.
Дай силы нам преодолеть дорогу,
И одинокими, не брошенными быть.

* * *

Мой самый лучший стих?
Он не записан, тих.
Его из глубин примчала,
Я его промолчала.

(с немецкого)

В НОМЕРЕ		
	М. Румер-Зараев Предисловие	3
<i>ПРОЗА И ПОЭЗИЯ</i>	Л. Бердичевский	5
	М. Вайман	13
	М. Верник	24
	Л. Гентош-Федоринская	34
	М. Глинкин	36
	Е. Ещенко	40
	М. Зор	45
	М. Их	47
	Я. Кутин	52
	С. Лурье	63
	С. Львович	67
	Г. Ляховицкая	70
	О. Никогосян	73
	А. Осмоловская	81
	Р. Панфилов	90
	А. Подольская	95
	М. Полянская	104
	В. Пугачевская	119
	Л. Рейнгач	125
	Б. Рохлин	130
	Л. Сысолетин	140
	Л. Усач	143
	В. Федорова	146
	Г. Хлусевич	149
	А. Ходорковский	155
	Б. Черепашенец	160
	Ал. и Л. Шаргородские	162
	М. Шейнбаум	168
	У. Шереметьева	172
	М. Эненштейн	174
<i>ПУБЛИЦИСТИКА</i>	К. Абрагам	178
	Э. Грабер	183
	Г. Ляховицкая	185
	М. Шейнбаум	191
	Д. Шимановский	198
	Д. Яновский	203
<i>НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ</i>	Л. Бердичевский	208
	И. Гуревич	213
	С. Львович	222
	О. Пятов	223
	А. Ходорковский	231
	Д. Яновский	237

